

# Леопольд фон Захер-Мазох

## Венера в мехах

*И покарал его Господь и отдал его в руки женщины.*  
Кн. Юдифи, 16, гл. 7.

У меня была очаровательная гостья.

Перед большим камином в стиле ренессанс, прямо против меня, сидела Венера. Но это не была какая-нибудь дама полусвета, ведущая под этим именем войну с враждебным полом – вроде какой-нибудь мадемуазель Клеопатры, – а настоящая и подлинная богиня любви.

Она сидела в кресле, а перед ней пылал в камине яркий огонь, и красный отблеск пламени освещал ее бледное лицо с белыми глазами, а время от времени и ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть.

Голова ее поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза; но только голову ее я и видел. Величавая богиня закутала все свое мраморное тело в широкие меха и, вся дрожа, сидела свернувшись в комочек, как кошка.

Между нами шел разговор...

\* \* \*

– Я вас не понимаю, сударыня, – воскликнул я, – право же, теперь совсем уже не холодно! Вот уже две недели, как у нас стоит восхитительная весна. Вы, очевидно, просто нервны...

– Благодарю за вашу весну! – отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула – даже два раза, быстро, один за другим. – Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать...

– Что, глубокоуважаемая?

– Я готова начать верить невероятному, понимать непостижимое. Мне сразу становится понятной и германская женская добродетель, и немецкая философия, – и меня перестает поражать то, что вы любить не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете о том, что такое любовь...

– Позвольте, однако, сударыня!.. – воскликнул я, вспыхнув. – Я положительно не дал вам никакого повода...

– Ну, вы другое дело! – божественная чихнула в третий раз и с

неподражаемой грацией повела плечами. – Зато я была к вам неизменно благосклонна и даже время от времени навещаю вас, хотя, благодаря множеству своих меховых покровов, каждый раз простуживаюсь. Помните ли вы, как мы с вами в первый раз встретились?

– Еще бы! Мог ли бы я забыть это! – ответил я. – У вас были тогда пышные каштановые локоны, и карие глаза, и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности... Вы носили всегда фиолетовую бархатную кофточку с меховой опушкой.

– Да, вы были без ума от этого туалета... И какой вы были понятливый!

– Вы научили меня понимать, что такое любовь. Ваше веселое богослужение заставило меня забыть о двух тысячелетиях...

– А как беспримерно верна я вам была!

– Ну, что касается верности...

– Неблагодарный!

– Я совсем не хотел упрекать вас. Вы, правда, божественная женщина, – и, как всякая женщина, вы в любви жестоки.

– Вы называете жестокостью то, – с живостью возразила богиня любви, – что составляет главную сущность чувственности, веселой и радостной любви, то, что составляет природу женщины: отдаваться, когда любит, и любить все, что нравится.

– Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?

– Ах, мы и верны, пока любим! – воскликнула она. – Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, когда это и не доставляет ей наслаждения, – кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может быть только об удовольствиях.

– Да, сударыня, – и зато у нас такие почтенные и добродетельные чувства и такие длительные связи...

– И так же вечно это тревожное, ненасытное, жадное стремление к языческой наготе, – вставила она. – Но та любовь, которая представляет высшую радость, воплощенное божественное веселье, – эта не по вас, она не годится для вас, современных детей рассудочности. Для вас она несчастье. Когда вы захотите быть естественными, вы впадаете в пошлость. Вам представляется природа чем-то враждебным, из нас, смеющихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов, меня представили дьяволицей. Меня вы умеете только преследовать, заточать и проклинать – или же, в порыве вакхического безумия, сами себя заклать, как жертву, на моем алтаре. И когда у кого-нибудь из вас хватает мужества целовать мои яркие губы, – он тотчас бежит искупать это паломничеством в Рим босиком и в покаянном рубище, ждет, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, – тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не по силам упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, – а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под

застывшими потоками лавы, не откапывайте нас! Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши бани, наши храмы – не для вас! Вам не нужно богов! Мы гибнем в вашем холодном мире!

Мраморная красавица закашляла и плотнее запахла темный соболий мех, облежавший ее плечи.

– Благодарю за данный нам классический урок, – ответил я. – Но вы ведь не станете отрицать, что по природе мужчина и женщина – в вашем веселом, залитом солнцем мире, так же как и в нашем туманном, – враги; что любовь только на короткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом еще сильнее разъединить их. И – это вы лучше меня знаете – кто потом не сумеет подчинить другого себе, тот страшно быстро почувствует ногу другого на своей спине...

– И обыкновенно даже, именно мужчина ногу женщины... – воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. – Это-то уж вы лучше меня знаете.

– Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий.

– То есть вы теперь мой раб без иллюзий... и я за то без сострадания буду топтать вас...

– Сударыня!

– Разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, – раз уж вам такое удовольствие доставляет это слово. И разве я не права тем, что жестока? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина – предмет этих стремлений; это ее единственное, но зато решительное преимущество. Природа отдала на ее произвол мужчину с его страстью, и та женщина, которая не умеет сделать его своим подданным, своим рабом, больше, своей игрушкой – и затем со смехом изменить ему, – такая женщина просто неумна.

– Ваши принципы, глубокоуважаемая... – начал я, возмущенный.

– ...покоятся на тысячелетнем опыте, – насмешливо перебила меня божественная, перебирая своими белыми пальцами темный волос меха. – Чем более преданной является женщина, тем скорее отрезвляется мужчина и становится властелином. И чем более она окажется жестокой и неверной, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем больше к нему безжалостна, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена – от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец.

– Не могу отрицать, – сказал я, – для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины – деспота, весело, надменно и беззаветно меняющей своих любимцев по первому капризу...

– И облаченной к тому же в меха! – воскликнула богиня.

– Как это вам в голову пришло?

– Я ведь знаю ваше пристрастие.

– Но, знаете ли, – заметил я, – с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой...

– О чем это вы, позвольте спросить?

– О том, что в мире нет и не может быть ничего обворожительнее для вашего белого тела, чем этот покров из темного меха, и что он...

Богиня засмеялась.

– Вы грезите! – промолвила она. – Проснитесь-ка! – И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. – Да проснитесь же! – прогремел ее голос низким грудным звуком.

Я с усилием открыл глаза.

Я увидел тормошившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос оказался сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего предо мной во весь свой почти саженный рост.

– Да вставайте же, что это, срам какой!

– Что такое? Почему срам?

– Срам и есть – заснуть одетым, да еще за книгой! – Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. – Да еще за сочинением (он открыл крышку переплета) Гегеля... И потом, давно пора уж к господину Северину ехать, он к чаю нас ждет.

\* \* \*

– Странный сон!.. – проговорил Северин, когда я кончил рассказ, облокотился руками на колени, склонил лицо на свои тонкие руки с нежными жилками и глубоко задумался.

Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша; так это действительно и было. Меня не поражало его поведение – мы состояли с ним уже почти три года в отличных приятельских отношениях, и я успел привыкнуть ко всем его странностям.

А странный человек он был, этого отрицать нельзя было, хотя и далеко не такой опасный безумец, каким его считали не только ближайшие соседи, но и всюду окрест во всей Коломее. Меня же он не только интересовал, – за это и я прослыл среди многих немножко свихнувшимся, – но и весь он был мне в высшей степени симпатичен.

Для человека его положения и возраста, – он был галицийский дворянин и помещик, и было ему лет тридцать с небольшим, – он был поразительно трезвомыслящий человек, очень серьезного склада, даже до педантизма. В основу своей жизни он положил полуфилософскую, полупрактическую систему, которую проводил с мелочной выдержанностью, и жил не только по ней, но в то же время еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Но при этом временами его постигали припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге.

Пока он так долго сидел безмолвно, кругом раздавались разнообразные звуки: потрескивал в камине огонь, пыхтел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сигару, трещал сверчок в стенах старого дома, – и глаза мои бесцельно блуждали по странной, оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была

его комната.

Вдруг мне на глаза случайно попала картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от нее глаз: такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине.

На ней была изображена прекрасная женщина, с солнечно-яркой улыбкой на нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них; опершись на левую руку, она сидела на оттоманке нагая, завернутая в меховой плащ, правая рука ее играла хлыстом, а обнаженная нога небрежно опиралась на мужчину, распростертого перед ней, как раб, как собака.

И этот мужчина, с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, – этот мужчина, служивший подножной скамейкой ногам красавицы, был сам Северин. Только без бороды – по-видимому, лет на десять моложе, чем теперь.

– *Венера в мехах!* – воскликнул я, указывая на картину. – Такой я и видел ее во сне.

– Я тоже... – отозвался Северин. – Только я видел свой сон открытыми глазами.

– Как так?

– Ах, это очень глупая история.

– Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, – сказал я. – Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни, и, по-видимому, очень решительную... Я это представляю себе, но узнать все хочу от тебя.

– Взгляни-ка на другую, ее pendant, – сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова.

Другая представляла превосходную копию известной тициановской «Венеры с зеркалом» из Дрезденской галереи.

– Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением?

Северин встал и указал пальцем на картине мех, в который облек Тициан свою богиню любви.

– Здесь тоже «Венера в мехах», – сказал он с легкой улыбкой. – Не думаю, чтобы старый венецианец проявил в этом какой-нибудь умысел. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Мессалины и был так любезен, что заставил держать перед ней зеркало – в котором она с холодным довольством исследует свои величавые чары, – Амура, а ему, по-видимому, эта работа не очень сладка.

Эта картина – сплошная мсть в красках. Впоследствии какой-нибудь «знаток» эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха деспотической красавицы, в которые закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное, не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и ее красоте.

Но дело не в этом. Картина эта, в своем нынешнем виде, является самой едкой, злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная кутаться на нашем абстрактном севере, в, как лед, холодном христианском мире, в просторные, тяжелые меха, – чтобы не простудиться!..

Северин засмеялся и закурил новую папиросу.

В эту самую минуту скрипнула дверь и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка, с умными и приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа.

– Говорил я тебе, чтоб яйца были всмятку?! – крикнул он так резко, что молодая женщина вздрогнула.

– Но... Севчу, милый!.. – испуганно пробормотала она.

– Что там «Севчу»? – закричал он снова. – Слушаться ты должна, понимаешь? Слушаться меня!..

И он сорвал со стены плетку, висевшую рядом с его оружием.

Как пойманный зверь, пугливо бросилась хорошенькая женщина к двери и быстро выскользнула из комнаты.

– Ну, подожди... еще попадешься мне в руки! – крикнул он ей вслед.

– Что с тобой, Северин! – сказал я, кладя руку на рукав его сюртука. – Как можно так обращаться с этой хорошенькой маленькой женщиной!

– Да, смотри на них, на женщин! – возразил он, шутливо подмигнув глазом. – Если бы я льстил ей, она накинула бы мне петлю на шею, – а так, когда я ее воспитываю плетью, она на меня молится...

– Полно тебе вздор говорить!

– Это ты вздор говоришь. Женщин необходимо так дрессировать.

– Да, по мне, живи себе, если угодно, как паша в своем гареме, но не предьявляй мне теорий...

– Отчего и не теорий?! – с живостью воскликнул он. – Знаешь гётевское: «Ты должен быть либо молотом, либо наковальней», – ни к чему это не применимо в такой мере, как к отношениям между мужчиной и женщиной, – это тебе, между прочим, развивала и мадам Венера в твоём сне. На страсти мужчины основано могущество женщины, и она отлично умеет воспользоваться этим, если мужчина оказывается недостаточно предусмотрительным. Перед ним один только выбор – быть либо тираном, либо рабом. Стоит ему поддаться чувству на миг – и голова его уже окажется под ярмом и он тотчас почувствует на себе кнут.

– Диковинная теория!

– Не теория, а практика, опыт, – возразил он, кивнув головой. – Меня в самом деле хлестали кнутом, это не шутка... Теперь я выздоровел. Хочешь прочесть, как это все случилось?

Он встал и вынул из ящика своего массивного письменного стола небольшую рукопись.

– Ты прежде спросил меня о той картине, – сказал он, положив передо мной на стол рукопись. – Я давно уже в долгу у тебя с этим объяснением. Возьми это – прочти!

Северин сел у камина спиной ко мне и, казалось, уснул с открытыми глазами. По выражению его лица можно было думать, что он видит сны. Снова в комнате все стихло, слышны были только треск дров в камине, тихое гудение самовара и стрекотание сверчка за старой стеной.

Я раскрыл рукопись и прочел:

### «Исповедь метафизика»

На полях рукописи красовались, в качестве эпиграфа, видоизмененные известные стихи из Фауста:

«Тебя, метафизик, чувственник, женщина водит за нос!  
*Мефистофель*».

Я перевернул заглавный лист и прочел:

«Нижеследующее я составил по своим тогдашним заметкам в дневнике; свободно восстановить свое прошлое правильно – трудно, а так все сохраняет свою свежесть, правдивые краски настоящего».

\* \* \*

Гоголь, этот русский Мольер, где-то говорит – не помню, где именно... ну, все равно, – что истинный юмор – это тот, в котором сквозь «видимый миру смех» струятся «незримые миру слезы».

Дивное изречение!

Странное настроение охватывает меня порою в течение того времени, что я пишу эти записки.

Воздух кажется мне напоенным волнующими ароматами цветов, которые опьяняют меня и причиняют мне головную боль. В извивающихся струйках дыма мне чудятся образы маленьких домовых с седыми бородами, насмешливо указывающих пальцами на меня. По локотникам моего кресла и по моим коленям, мнится мне, скользят верхом толстощекие амуры, – и я невольно улыбаюсь, даже громко смеюсь, записывая свои приключения... И все же я пишу не обыкновенными чернилами, а красной кровью, которая сочится у меня из сердца, потому что теперь вскрылись все его зарубцевавшиеся раны, и оно сжимается и болит, и то и дело каплет слеза на бумагу.

\* \* \*

В ленивой праздности тянутся дни в маленьком курорте в Карпатах. Никого не видишь, никто тебя не видит. Скучно до того, что хоть садись идилии сочинять. У меня здесь столько досуга, что я мог бы написать целую галерею картин, мог бы снабдить театр новыми пьесами на целый сезон, для целой дюжины виртуозов написать концерты, трио и дуэты, но... что

толковать! – в конце концов я успеваю только натянуть холст, разложить листы бумаги, разлиновать нотные тетради, потому что я...

Только без ложного стыда, друг Северин! Лги другим, но обмануть себя самого тебе уже не удастся. Итак, скажем правду: потому что я не что иное, как дилетант. Только дилетант – и в живописи, и в литературе, и в музыке, и еще кое в чем из тех так называемых бесхлебных искусств, жрецы которых получают от них нынче министерские доходы, а порой и положение маленьких владетельных князей... Ну, и прежде всего я – дилетант в жизни.

Жил я до сих пор так же, как писал картины и книги, то есть я ушел не дальше грунтовки, планировки, первого акта, первой строфы. Бывают такие люди, которые вечно только начинают и никогда не доводят до конца; вот и я один из таких людей.

Но к чему вся эта болтовня?

К делу.

Я высовываюсь из окна и нахожу, в сущности, бесконечно поэтичным то гнездо, в котором я изнываю. Вид отсюда на высокую голубую стену гор, обвеянную золотистым ароматом солнца, вдоль которой извиваются стремительные каскады ручьев, словно серебряные ленты... Как ясно и синее небо, в которое упираются снеговые вершины; как зелены и ярко свежи лесистые откосы, луга с пасущимися на них стадами, вплоть до желтых волн зреющих нив, среди которых мелькают фигуры жнецов, то исчезая, нагнувшись, то снова выныривая.

Дом, в котором я живу, расположен среди своеобразного парка, или леса, или лесной чащи – это можно назвать как угодно; стоит он очень уединенно.

Никто в нем не живет, кроме меня и какой-то вдовы из Лемберга, – да еще домовладелицы Тартаковской, маленькой, старенькой женщины, которая с каждым днем становится меньше ростом и старше, – да старого пса, хромящего на одну ногу, да молодой кошки, вечно играющей с тем же клубком ниток; а клубок ниток принадлежит, я полагаю, прекрасной вдове.

А она, кажется, действительно красива – эта вдова, и еще очень молода, ей не больше двадцати четырех лет, и очень богата. Она живет в верхнем этаже, а я в первом, вровень с землей. Зеленые жалюзи на ее окнах всегда опущены, балкон – весь заросший зелеными вьющимися растениями. Зато у меня есть внизу милая, уютная беседка, обвитая диким виноградом, в которой я читаю, и пишу, и рисую, и пою – как птица в ветвях.

Из беседки мне виден балкон. Иногда я и поднимаю глаза к нему, вверх, и время от времени сквозь густую зеленую сеть мелькнет белое платье.

В сущности, меня очень мало интересует красивая женщина там, наверху, потому что я влюблен в другую, и, надо сказать, до последней степени безнадежно влюблен – еще гораздо более безнадежно, чем рыцарь Тоггенбург и Шевалье в Манон Леско, – потому что моя возлюбленная... из камня.

Есть в саду, там, в маленькой чаще, восхитительная лужайка, на которой мирно пасутся два-три домашних зверька. На этой лужайке стоит каменная статуя Венеры – кажется, копия с оригинала во Флоренции. Эта Венера – самая красивая женщина, которую я когда-либо в жизни видел.

Это еще не так много значит, правда, – потому что я видел мало красивых женщин, да и женщин вообще мало видел; я и в любви дилетант, никогда не уходивший дальше грунтовок, первого акта.

Но к чему тут сравнения, – как будто то, что прекрасно, может быть превзойдено?

Довольно того, что эта Венера прекрасна и что я люблю ее – так страстно, так болезненно нежно, так безумно, как можно любить только женщину, неизменно отвечающую на любовь вечно одинаковой, вечно спокойной, каменной улыбкой. Да, я буквально молюсь на нее.

Часто, когда солнце жарко палит деревья, я укладываюсь близ нее под сенью молодого бука и читаю; часто я посещаю мою холодную, жестокую возлюбленную и по ночам, – тогда я становлюсь пред ней на колени, прижавшись лицом к холодным камням, на которых покоятся ее ноги, и беззвучно молюсь ей.

Нет слов выразить эту красоту, когда над ней восходит луна – теперь она как раз близится к полнолунию – и плывет среди деревьев, и лужайка залита серебряным блеском... а богиня стоит, словно просветленная, и как будто купается в ее мягком сиянии.

Однажды, возвращаясь с такой молитвы, я заметил: в одной из аллей, ведущих к дому, мелькнула вдруг, отделенная от меня одной зеленой галереей, женская фигура – белая, как камень, и облитая лунным светом. На мгновение меня охватило такое чувство, как будто моя прекрасная мраморная женщина сжалась надо мной и ожила и пошла за мной... И душу мне оковал безотчетный страх, сердце трепетало, словно готовое разорваться, – и вместо того чтобы...

Ну, да ведь я дилетант. И как всегда, я застрял на втором стихе... Нет, я не застрял, наоборот, – я побежал так быстро, как только хватило моих сил.

\* \* \*

Вот случайность! У еврея, торговца фотографиями, оказывается как раз снимок с моего идеала! Небольшой листок – «Венера с зеркалом» Тициана... Что это за женщина! Я напишу стихотворение. Нет! Я возьму листок и подпишу под ним: «*Венера в мехах*».

Ты зябнешь, – ты, сама зажигающая пламя! Закутайся же в свои деспотические меха, – кому они и приличествуют, если не тебе, жестокая богиня красоты и любви!..

И через некоторое время я прибавил к подписи несколько стихов из Гёте, которые я недавно нашел в его Паралипомене к Фаусту.

«Амуру! Обманчивые крылышки и стрелы – не стрелы, а когти, и скрытые рожки под венком. Сомнения нет: как все боги Греции, и он лишь – замаскированный черт».

Затем я поставил гравюру пред собой на стол, оперев ее о книгу, и принялся рассматривать ее.

Холодное кокетство прекрасной женщины, с которым она драпирует свою

красоту темными собольими мехами, строгость, жестокость, лежащая в дивных чертах мраморного лица, меня чаруют и внушают мне в то же время ужас.

Я снова берусь за перо, и вот что ложится на бумагу:

«Любить, быть любимым – какое счастье! И все же как бледнеет его яркий восход перед полным муки блаженством – боготворить женщину, которая делает нас своей игрушкой, быть рабом прекрасной тиранки, безжалостно топчущей нас ногами. Даже Самсон – этот великан – отдался еще раз в руки Далилы, изменившей ему, и она еще раз предала его, и филистимляне связали его на ее глазах и выкололи ему глаза, остававшиеся до последнего мгновения отуманенными яростью и любовью, прикованными к прекрасной изменнице».

\* \* \*

Я завтракал в своей беседке и читал Книгу Юдифи и завидовал злому язычнику Олоферну за его кроваво-прекрасную кончину, за отсеченную рукой царственной женщины голову его.

«И покарал его Господь и отдал его в руки женщины».

Эта фраза поразила меня.

Как нелюбезны эти евреи, думал я. Да и сам Бог их! – Мог же он выбрать поприличнее выражения, говоря о прекрасном поле!

«Бог покарал его и отдал в руки женщины»... – повторил я про себя.

Что бы мне придумать, что совершить, чтобы он покарал меня?

Ах, ради бога... Опять является эта домохозяйка; за ночь она еще сморщилась и стала еще немножко меньше. А там, наверху, опять что-то белеет меж зеленых ветвей...

Венера или вдова?

На этот раз вдова, потому что госпожа Тартаковская, приседая, просит у меня от ее имени книг для чтения.

Я бегу к себе в комнату и быстро тащу со стола пару томов.

Слишком поздно уже я вспоминаю, что в одном из них лежит моя гравюра – Венера. И теперь она у белой женщины там, наверху, вместе со всеми моими излияниями.

Что-то она об этом скажет?

Я слышу, она смеется.

Не надо мной ли?

\* \* \*

Полнолуние! Вон уже вышла луна из-за верхушек невысоких елей, окаймляющих парк, и серебристый аромат разлился над террасой, над группами деревьев, залил всю местность, какую только можно охватить глазом, и мягко трепещет вдали, словно зыбкая поверхность вод.

Так странно манит, зовет... Я не в силах противиться. Одеваюсь снова и выхожу в сад.

Меня влечет туда, на лужайку, к ней – к моей богине, к моей

возлюбленной.

Прохладная ночь. Я зябну от свежести. Воздух опьяняет тяжелым ароматом цветов, лесной чащи.

Как торжественно вокруг! Какая музыка ночи... Томительно рыдает соловей. Звезды тихо-тихо мерцают в бледно-голубой выси. Лужайка кажется гладкой, как зеркало, как ледяной покров пруда.

Светло и величаво высится предо мной статуя Венеры.

Но что это там темнеет?..

С мраморных плеч богини ниспадает до самых ступней ее длинный меховой плащ...

Я стою в оцепенении, не сводя с нее глаз, – и снова чувствую, как меня охватывает неизъяснимый знакомый тоскливый испуг... и бегу прочь.

Я бегу торопливо, все ускоряя шаги, – и вдруг замечаю, что ошибся аллеей. Возвращаюсь и только что хочу направиться в один из боковых зеленых коридоров, смотрю – прямо передо мной, на каменной скамье сидит Венера – моя прекрасная, каменная богиня... нет! живая, настоящая богиня любви – с горячей кровью, бегущей по жилам...

Да, она ожила для меня – как статуя Галатеи, начавшая дышать для своего творца... Правда, чудо совершилось только наполовину: еще из камня ее белые волосы, еще мерцают, как лунные лучи, ее белые одежды... или это атлас?.. А с плеч ниспадает темный мех... Но губы уже красны, и окрашиваются щеки, и из глаз ее струятся в мои глаза два дьявольских зеленых луча. И вот она смеется!

О, какой это странный смех, неизъяснимый!.. У меня захватывает дух, и я бегу, бегу без оглядки, но через каждые несколько шагов вынужден останавливаться, чтобы перевести дух... А этот насмешливый хохот преследует меня через темные сплетения листвы, через озаренные светом дерновые площадки, сквозь чащу, в которую врываются одинокие лунные лучи... Я сбился, мечусь по дорожкам, не знаю, куда идти, – на лбу у меня выступают крупные капли холодного пота.

Наконец я останавливаюсь и произношу краткий монолог.

Ведь наедине с самими собой люди всегда бывают или очень любезны, или очень грубы.

И вот я говорю себе:

– Осел!

Волшебное действие оказывает это коротенькое слово, точно заклинание, от которого вмиг рассеялись чары, и я пришел в себя.

Мгновенно я успокаиваюсь и удовлетворенно повторяю:

– Осел!

И вот я снова вижу все отчетливо и ясно. Вот фонтан, вон буковая аллея, а вон там и дом. И я медленно направляюсь теперь к нему.

Вдруг – еще раз, внезапно – за зеленой стеной, залитой лунным сиянием, затканной серебром, – еще раз мелькнула белая фигура, прекрасная каменная женщина, которую я боготворю, которой я боюсь, от которой я бегу.

Два-три прыжка – и я дома, перевожу дух и задумываюсь.

Что же теперь? Что я такое: маленький дилетант или большой осел?

\* \* \*

Знойное утро – в воздухе душно, тянет крепкими, волнующими ароматами.

Я снова сижу в своей беседке, увитой диким виноградом, и читаю «Одиссею». Читаю об очаровательной волшебнице, превращающей своих поклонников в зверей. Дивный образ античной любви.

Тихо шелестят ветви и стебли, шелестят листы моей книги, что-то шелестит и на террасе.

Женское платье...

Вот *она*... Венера... только без мехов... нет! теперь другая... это вдова!.. И все же... она... Венера!.. О, что за женщина!

Вот она предо мной – в легком белом утреннем одеянии – и смотрит на меня...

Какой поэзией, какой дивной прелестью и грацией дышит ее изящная фигура!

Она не высока, но и не мала. Головка – не строгой красоты, она скорее обаятельна, как головка французской маркизы XVIII столетия. Но как обворожительна! Мягкий и нежный рисунок не слишком маленького рта, чарующая шаловливость в выражении полных губ... кожа так нежно-прозрачна, что всюду сквозят голубые жилки, – не только на лице, но и на закрытых тонкой кисеей руках и груди... пышные красные волосы... да, волосы рыжи – не белокуры, не золотисты – рыжи, но как демонически прекрасно и в то же время прелестно, нежно обвивают они затылок... Вот сверкнули ее глаза – словно две зеленые молнии... Да, они зеленые, эти глаза, с их неизъяснимым выражением, кротким и властным, – зеленые, но того глубокого таинственного оттенка, какой бывает в драгоценных камнях, в бездонных горных озерах.

Она заметила мое смущение, – а растерялся я до невежливости, до того, что забыл встать, снять фуражку с головы.

Она лукаво улыбнулась.

Наконец я подымаюсь, кланяюсь. Она подходит ближе и разражается звонким, почти детским смехом. Я что-то бормочу, запинаясь, – как может только бормотать в такую минуту маленький дилетант или большой осел.

Так мы познакомились.

Богиня осведомилась о моем имени и назвала свое.

Ее зовут Ванда фон Дунаева.

И она действительно моя Венера.

– Но, сударыня, как пришла вам в голову такая идея?

– Мне ее подала гравюра, лежавшая в одной из ваших книг...

– Я забыл ее...

– Ваши странные заметки на обороте...

– Почему странные?

Она смотрела мне прямо в глаза.

– Мне всегда хотелось встретить настоящего мечтателя-фантаста... ради

разнообразия... Ну, а вы мне кажется, по всему, одним из самых безудержных...

– Многоуважаемая... в самом деле... – И я чувствую, что у меня опять глупо, идиотски спотыкается язык и, в довершение, я краснею – так, как это еще прилично было бы шестнадцатилетнему юноше, но не мужчине, который почти на целых десять лет старше...

– Вы сегодня ночью испугали меня.

– Да, собственно, дело в том, что... не угодно ли вам, впрочем, присесть?

Она села и, видимо, забавлялась моим испугом, – а мне действительно и теперь, среди бела дня, становилось все более и более страшно – очаровательная усмешка дрожала вокруг ее верхней губы.

– Вы смотрите на любовь, – заговорила она, – и прежде всего на женщину, как на нечто враждебное, перед чем вы стараетесь, хотя и тщетно, защищаться, но чью власть вы чувствуете, как сладостную муку, как жалящую жестокость. Взгляд вполне современный.

– Вы с ним не согласны?

– Я с ним не согласна, – подхватила она быстро и решительно и несколько раз покачала головой, отчего локоны ее заколыхались, как огненные струйки. – Для меня веселая чувственность эллинской любви – радости без страдания – идеал, который я стремлюсь осуществить в личной жизни. Потому что в ту любовь, которую провозглашает христианство, которую проповедают современные люди, эти рыцари духа, – в нее я не верю.

Да, да, смотрите на меня. Я не только еретичка – гораздо хуже: я – язычница.

Не думала долго богиня любви,  
Когда ей понравился в роще Анхиз.

Меня всегда восхищали эти стихи из римской элегии Гёте.

В природе лежит только эта любовь, любовь героической эпохи, та, которую «любили боги и богини». Тогда – «за взглядом следовало желание, за желанием следовало наслаждение».

Все иное – надуманно, неискренно, искусственно, аффектировано. Благодаря христианству – этой жестокой эмблеме его – кресту... душа моя содрогается ужасом от него... – в природу и ее безгрешные инстинкты были внесены элементы чуждые, враждебные. Борьба духа с чувственным миром – вот евангелие современности. Я не принимаю его!

– Да, вам бы жить на Олимпе, сударыня, – ответил я. – Ну, а мы, современные люди, не переносим античной веселости, – по крайней мере в любви. Одна мысль – делить женщину, хотя бы она была какой-нибудь Аспазией, с другими – нас возмущает, мы ревнивы, как наш Бог. И вот почему у нас имя очаровательной Фрины стало бранным словом.

Мы предпочитаем скромную, бледную гольбейновскую деву, принадлежащую нам одному, – античной Венере, которая как бы она ни была божественно прекрасна, любит сегодня Анхиза, завтра Париса, послезавтра

Адониса. И если случится, что в нас одерживает верх стихийная сила и мы отдаемся пламенной страсти к подобной женщине, то ее жизнерадостная веселость нам кажется демонической силой, жестокостью, и в нашем блаженстве мы видим грех, который требует искупления.

– Значит, и вы увлекаетесь современной женщиной? Этой бедной истерической женщиной, которая, как сомнамбула, вечно бродит в поисках несуществующего идеала мужчины, плода своего воображения, и в своем бреде не умеет оценить лучшего мужчину, в вечных слезах и муках, ежеминутно оскорбляя свой христианский долг, мечется, обманывая, и, обманутая, выбирая, покидая и снова ища, никогда не умеет ни изведать счастье, ни дать счастье и только клянет судьбу – вместо того, чтобы спокойно сознаться: я хочу любить и жить, как любили и жили Елена и Аспазия.

Природа не знает прочных и длительных отношений между мужчиной и женщиной!

– Сударыня...

– Дайте мне договорить. Только эгоизм мужчины стремится схоронить женщину, как сокровище. Все попытки внести эту прочность в самую изменчивую из всех изменчивых сторон человеческого бытия – в любовь – путами священных обрядов, клятв и договоров потерпели крушение. Можете ли вы отрицать, что наш христианский мир разлагается?

– Но, сударыня...

– Но единичные мятежные личности, восстающие против общественных установлений, изгоняются, клеймятся позором, забрасываются камнями... – вы это хотели сказать, конечно? Ну, хорошо. У меня хватает дерзновения, я хочу прожить свою жизнь согласно своим языческим принципам. Я отказываюсь от вашего лицемерного уважения, я предпочитаю быть счастливой.

Те, кто выдумали христианский брак, отлично сделали, что выдумали одновременно и бессмертие. Но я несколько не думаю о жизни вечной, – если с последним моим вздохом здесь на земле для меня, как для Ванды фон Дунаевой, все кончено, – что мне из того, что мой чистый дух воссоединится в песнопении с хором ангелов или что мой прах сольется в материю для новых существ?

А если я сама, такова, какова я есть, больше жить не буду – во имя чего же я стану отрешаться от радостей? Принадлежать человеку, которого я не люблю, только потому, что я когда-то его любила? Нет! Я не хочу отречения – я люблю всякого, кто мне нравится, и дам счастье всякому, кто меня любит. Разве это гадко? Нет, это гораздо красивее, во всяком случае, чем если бы я стала жестоко наслаждаться мучениями, которые я причиняю, и добродетельно отворачиваться от бедняги, изнывающего от страсти ко мне. Я молода, хороша и богата – и весело живу для удовольствия, для наслаждения.

Пока она говорила и глаза ее лукаво сверкали, я схватил ее руки, хорошенько не сознавая, что хотел делать с ними, но теперь, как истинный дилетант, торопливо выпустил их.

– Ваша искренность восхищает меня, – сказал я, – и не одна она...

Опять все то же – проклятый дилетантизм перехватил мне горло!

– Что же вы хотели сказать?

– Что я хотел?.. Да, я хотел... простите... сударыня... я перебил вас.

– Что такое?

Долгая пауза. Наверное, она говорит про себя целый монолог, который в переводе на мой язык исчерпывается одним-единственным словом: осел!

– Если позволите спросить, сударыня, – заговорил я наконец, – как вы дошли до... до этого образа мыслей?

– Очень просто. Мой отец был человек очень умный. Меня с самой колыбели окружали копии античных статуй, в десятилетнем возрасте я читала Жиль Блаза. Как большинство детей считают Мальчика с пальчик, Синюю бороду и Золушку, так считала я своими друзьями Венеру и Аполлона, Геркулеса и Лаокоона. Мой муж был человек веселый, жизнерадостный; ничто не могло надолго омрачить его чело, ни даже неизлечимая болезнь, постигшая его вскоре после того, как мы поженились.

Даже в ночь накануне своей смерти он взял меня к себе в постель, а в течение долгих месяцев, которые он провел в своем кресле на колесах, он часто шутя говорил мне: «Есть уже у тебя поклонник?» Я загоралась от стыда.

А однажды он прибавил: «Не обманывай меня, это было бы гадко. А красивого мужчину найди себе – или даже лучше сразу нескольких. Ты – чудесная женщина, но при этом полуробеночек еще, ты нуждаешься в игрушках».

Вам не нужно говорить, надеюсь, что, пока он был жив, я поклонников не имела; но он воспитал меня такой, какова я теперь: гречанкой.

– Богиней... – поправил я.

– Какой именно? – спросила она, улыбнувшись.

– Венерой!

Она погрозила мне пальцем и нахмурила брови.

– И даже «Венерой в мехах»... Погодите же, – у меня есть большая шуба, которой я могу укрыть вас всего, – я поймаю вас в нее, как в сети.

– И вы полагаете, – быстро заговорил я, так как меня осенила мысль, показавшаяся мне в ту минуту, при всей ее простоте и банальности, очень дельной, – вы полагаете, что ваши идеи возможно проводить в наше время? Что Венера может разгуливать во всей своей нескрываемой и радостной красоте в мире железных дорог и телеграфов?

– *Нескрываемой* – нет, конечно! В шубе! – воскликнула она, смеясь. – Хотите видеть мою шубу?

– И потом...

– Что же «потом»?

– Красивые, свободные, веселые и счастливые люди, какими были греки, возможны только тогда, когда существуют *рабы*, которые делают все прозаические дела повседневной жизни и которые прежде всего – работают на них.

– Разумеется, – весело ответила она. – И прежде всего, олимпийской богине, вроде меня, нужна целая армия рабов. Берегитесь же меня!

– Почему?

Я сам испугался той смелости, с которой у меня вырвалось это «почему». Она же несколько не испугалась; у нее только слегка раздвинулись губы, так что из-за них сверкнули маленькие белые зубы, и потом проронила вскользь, как будто дело шло о чем-нибудь таком, о чем и говорить не стоило:

– Хотите быть моим рабом?

– Любовь не знает разграничений, – ответил я торжественно-серьезно. – Но если бы я имел право выбора – властвовать или быть подвластным, – то мне показалась бы гораздо более привлекательной роль раба прекрасной женщины. Но где же я нашел бы женщину, которая не добивалась бы влияния мелочной сварливостью, а сумела бы властвовать в спокойном сознании своей силы?

– Ну, это-то было бы нетрудно, в конце концов.

– Вы думаете?..

– Ну, я, например, – она засмеялась, откинувшись на спинку скамьи. – У меня деспотический талант... есть у меня и необходимые меха... но вы сегодня ночью совсем серьезно испугались меня?

– Совсем серьезно.

– А теперь?

– Теперь... теперь-то я особенно боюсь вас!

\* \* \*

Мы встречаемся теперь ежедневно, я и... Венера. Много времени проводим вместе, вместе завтракаем у меня в беседке, чай пьем в ее маленькой гостиной, и я имею широкую возможность развернуть все свои маленькие, очень маленькие таланты. Для чего же я в самом деле учился всем наукам, пробовал силы во всех искусствах, если бы не сумел блеснуть перед маленькой хорошенькой женщиной?

Но эта женщина – отнюдь не маленькая и импонирует мне страшно. Сегодня я попробовал нарисовать ее – и только тут отчетливо почувствовал, как мало подходят современные туалеты к этой голове камеи. В чертах ее мало римского, но очень много греческого.

Мне хочется изобразить ее то в виде Психеи, то в виде Астарты, сообразно изменчивому выражению ее глаз – одухотворенно-мечтательному или утомленному, полному изнеможения, когда лицо ее словно опалено огнем сладострастия. Ей хочется, чтобы я писал ее портрет.

Ну, хорошо – я напишу ее в мехах.

О, как мог я колебаться хотя бы минуту! Кому же идут царственные меха, если не ей?

\* \* \*

Вчера вечером я был у нее и читал ей римские элегии. Потом я отложил книгу и фантазировал что-то собственное. Кажется, она была довольна... даже больше: она буквально приковалась глазами к моим губам и грудь ее прерывисто дышала.

Неужели мне это только показалось?

Дождь меланхолично стучал в оконные стекла, огонь мягко, по-зимнему, потрескивал в камине – я почувствовал себя у нее так уютно, тепло... на мгновение я забыл свое почтительное обожание и просто поцеловал руку красавицы, и она не рассердилась.

Тогда я сел у ее ног и прочел маленькое стихотворение, которое написал для нее.

Я молил в нем свою «Венеру в мехах», ожившую героиню мифа, дьявольски прекрасную женщину, мраморное тело которой покоится среди мирта и агав, положить свою ногу на голову ее раба.

На этот раз мне удалось пойти дальше первой строфы, но по ее повелению я отдал ей в тот вечер листок, на котором записал это стихотворение, и так как копии у меня не осталось, то я могу припомнить его теперь только в общих чертах.

Странное чувство я испытываю. Едва ли я влюблен в Ванду – по крайней мере, при первой нашей встрече я совершенно не испытал той молниеносной вспышки страсти, с которой начинается влюбленность. Но я чувствую, что ее необычайная, поразительная, истинно-божественная красота мало-помалу опутывает меня своей магической силой.

Не похоже оно и на возникающую сердечную привязанность. Это какая-то психическая подчиненность, захватывающая меня медленно, постепенно, но тем полнее и бесповоротнее.

С каждым днем мои страдания становятся все глубже, нестерпимее, а она... только улыбается этому.

\* \* \*

Сегодня она сказала мне вдруг, без всякого повода:

– Вы меня интересуете. Большинство мужчин так обыкновенны – в них нет подъема, пафоса, поэзии, а в вас есть известная глубина и энтузиазм и – главное – серьезность, которая мне нравится. Я могла бы вас полюбить.

\* \* \*

После недолгого, но сильного грозового ливня мы отправились вместе на лужайку, к статуе Венеры. Всюду над землей подымался пар, облака его неслись к небу, словно жертвенный дым; над головами нашими раскинулась разорванная радуга; ветви деревьев еще роняли капли дождя, но воробьи и зяблики уже прыгали с ветки на ветку и так возбужденно щебетали, слов но чему-то радовались. Воздух был напоен свежими ароматами.

Через лужайку трудно пройти, потому что она вся еще мокрая и блестит и искрится на солнце, словно маленький пруд, над подвижным зеркалом которого высится богиня любви – а вокруг головы ее кружится рой мошек и, освещенный солнцем, он кажется живым ореолом.

Ванда наслаждается восхитительной картиной и, желая отдохнуть,

опирается на мою руку, так как на скамьях в аллее еще не высохла вода. Все существо ее дышит сладостной истомой, глаза полужакрыты, дыхание ее ласкает мою щеку.

Я ловлю ее руку и – положительно не знаю, как я решился! – спрашиваю ее:

– Могли бы вы полюбить меня?

– Почему же? – отвечает она, остановив на мне свой спокойный и ясный, как солнце, взор. – Но не надолго.

Одно мгновение – и я стою перед ней на коленях и прижимаюсь пылающим лицом к душистым складкам ее кисейного платья.

– Ну, Северин... ведь это неприлично!

Но я ловлю ее маленькую ногу и прижимаюсь к ней губами.

– Вы становитесь все неприличнее! – восклицает она, вырывается от меня и быстро убегает в дом, а в моей руке остается ее милая, милая туфелька.

Что это? Благословение?

\* \* \*

Весь день я не решался показаться ей на глаза. Перед вечером я сидел у себя в беседке – вдруг мелькнула ее обворожительная огненная головка сквозь вьющуюся зелень ее балкона.

– Отчего же вы не приходите? – нетерпеливо крикнула она мне сверху.

Я взбежал на лестницу, но у самой двери меня снова охватила робость, и я тихонько постучался. Она сказала «войдите», а открыла дверь сама, остановившись на пороге.

– Где моя туфля?

– Она... я ее... я хочу... – бессвязно забормотал я.

– Принесите ее, потом мы будем вместе чай пить и поболтаем.

Когда я вернулся, она возилась за самоваром. Я торжественно поставил туфельку на стол и отошел в угол, как мальчишка, ожидающий наказания.

Я заметил, что у нее был немного нахмурен лоб и вокруг губ легла какая-то строгая, властная складка, которая привела меня в восторг.

Вдруг она звонко расхохоталась:

– Значит, вы... в самом деле влюблены... в меня?

– Да, и страдаю сильнее, чем вы думаете.

– Страдаете? – И она снова засмеялась.

Я был возмущен, пристыжен, уничтожен; но она ничего этого не заметила.

– Зачем же? – продолжала она. – Я отношусь к вам очень хорошо, сердечно.

Она протянула мне руку и смотрела на меня чрезвычайно дружелюбно.

– И вы согласитесь быть моей женой?

Ванда взглянула на меня... Не знаю, как это определить, как она на меня взглянула – прежде всего, кажется, изумленно, а потом немного насмешливо.

– Откуда это вы вдруг столько храбрости набрались? – проговорила она.

– Храбрости?..

– Да, храбрости жениться вообще, и в особенности на мне? Так скоро вы подружились вот с этим? – Она подняла туфельку. – Но оставим шутки. Вы в самом деле хотите жениться на мне?

– Да.

– Ну, Северин, это дело серьезное. Я верю, что вы любите меня, я тоже люблю вас – и, что еще лучше, мы интересуем друг друга, нам не грозит, следовательно, опасность скоро наскучить друг другу. Но ведь я, вы знаете, легкомысленная женщина – и именно потому-то я отношусь к браку очень серьезно, – и если я беру на себя какие-нибудь обязанности, то я хочу иметь возможность и исполнить их. Но я боюсь... нет... вам будет больно услышать это.

– Будьте искренни со мной, прошу вас! – настаивал я.

– Ну, хорошо, скажу откровенно: я не думаю, чтоб я могла любить мужчину дольше, чем...

Она грациозно склонила набок головку и соображала.

– Дольше года?

– Что вы говорите! Дольше месяца, вероятно.

– И меня не дольше?

– Ну, вас... вас, может быть, два.

– Два месяца! – воскликнул я.

– Два месяца – это очень долго.

– Сударыня, это больше, чем антично...

– Вот видите, вы не переносите правды.

Ванда прошла по комнате, потом вернулась к камину и, прислонившись к нему, опершись рукой о карниз, молча смотрела на меня.

– Что же мне с вами делать? – заговорила она через несколько секунд.

– Что хотите, – покорно ответил я, – что вам доставит удовольствие...

– Как вы непоследовательны! – воскликнула она. – Сначала требуете, чтобы я стала вашей женой, а потом отдаете мне себя, как игрушку.

– Ванда... я люблю вас!

– Так мы снова вернемся к тому, с чего начали. Вы любите меня и хотите, чтобы я была вашей женой, – но я не хочу вступать в новый брак, потому что сомневаюсь в прочности моих и ваших чувств.

– А если я хочу рискнуть на брак с вами?

– Тогда остается еще вопрос, хочу ли я рискнуть на брак с вами? – спокойно проговорила она. – Я отлично могу себе представить, что могла бы отдаться одному на всю жизнь; но в таком случае это должен был бы быть настоящий мужчина, который импонировал бы мне, который властно подчинил бы меня силой своей личности – понимаете? А все мужчины – я отлично это знаю! – едва только влюбятся, становятся слабы, покладисты, смешны, отдаются всецело в руки женщины, пресмыкаются перед ней на коленях. Между тем я могла бы долго любить только того, перед кем я ползала бы на коленях. Но вы мне так полюбились, что я... хочу попробовать.

Я бросился к ее ногам.

– Боже мой, вот вы уже и на коленях! – насмешливо сказала она. – Хорошо

же вы начинаете!

Когда я поднялся, она продолжала:

– Даю вам год сроку – чтобы покорить меня, чтобы убедить меня, что мы подходим друг другу, что мы можем жить вместе. Если вам удастся, тогда я буду вашей женой – зато такой женой, Северин, которая будет строго и добросовестно исполнять свои обязанности. В течение этого года мы будем жить, как в браке.

Кровь бросилась мне в голову.

Загорелись вдруг и ее глаза.

– Мы поселимся вместе, у нас будут одинаковые привычки – и мы посмотрим, можем ли мы ужиться. *Предоставляю вам все права супруга, поклонника, друга.* Довольны вы?

– Я должен быть доволен.

– Вы ничего не *должны*.

– Так я хочу...

– Превосходно. Это слова мужчины. Вот вам моя рука.

\* \* \*

Десять дней, как я не расстаюсь с ней ни на час, мы расходимся только на ночь, я могу непрерывно смотреть в ее глаза, держать ее руки, слушать ее речи, всюду сопровождать ее.

Моя любовь представляется мне глубокой, бездонной пропастью, в которую я погружаюсь все больше и больше, из которой меня уже никто не может спасти.

Сегодня днем мы улеглись на лужайке у подножия статуи Венеры. Я рвал цветы и бросал ей на колени, а она плела из них венки, которыми мы убрали нашу богиню.

Вдруг Ванда посмотрела на меня таким странным, отуманенным взглядом, что все существо мое вспыхнуло пламенем страсти. Потеряв самообладание, я охватил ее руками и прильнул губами к ее губам. Она крепко прижала меня к взволнованно дышавшей груди.

– Вы не сердитесь? – спросил я.

– Я никогда не сержусь за то, что естественно. Я боюсь только, что вы страдаете.

– О, страшно страдаю...

– Бедный друг... – проговорила она, проведя рукой по моему лбу и освобождая его от спутавшихся на нем волос. – Но я надеюсь, – не по моей вине?

– Нет... но все же моя любовь к вам превратилась в какое-то безумие. Мысль о том, что я могу вас потерять – и, быть может, действительно потеряю, – мучает меня день и ночь.

– Но вы ведь еще и не обладаете мной, – сказала Ванда и снова взглянула на меня тем трепетным, влажным, жадно-горячим взглядом, которым только что зажгла во мне кровь.

Быстро поднявшись затем, она положила своими маленькими прозрачными руками венки из синих анемонов на белую кудрявую голову Венеры. Не владея собой, я обвил ее тело рукой.

– Я не могу больше жить без тебя, моя красавица... Поверь же мне – на этот единственный раз поверь – это не фраза, не фантазия! Всеми силами души я глубоко чувствую, как связана моя жизнь с твоею. Если ты от меня уйдешь, я зачахну, я погибну!..

– Да ведь этого не случится, глупый! Ведь я люблю тебя... глупый!..

– Но ты соглашаешься быть моей условно, – а я весь твой, весь и безусловно!..

– Это нехорошо, Северин! – воскликнула она почти испуганно. – Разве вы еще не узнали меня? Совсем не хотите понять меня? Я добра, пока со мной обращаются серьезно и благоразумно, но когда мне отдаются слишком беззаветно, во мне пробуждается злое высокомерие...

– Пусть!.. Будь высокомерна, будь деспотична, – воскликнул я в экстазе, не помня себя, – только будь моей, совсем, навеки!

Я бросился к ее ногам и обнял ее колени.

– Это нехорошо кончится, друг мой! – серьезно сказала она, не пошевелившись.

– О, пусть этому никогда не будет конца, – возбужденно, страстно воскликнул я, – пусть одна смерть нас разлучит! Если ты не можешь быть моей, совсем моей и на всю жизнь, – *позволь мне быть твоим рабом*, служить тебе, все сносить от тебя, – только не отталкивай меня!

– Возьмите же себя в руки, – сказала она, склоняясь ко мне и целуя меня в лоб. – Я всей душой полюбила вас, но это плохой путь, чтобы покорить меня, удержать меня.

– Я сделаю все, все, все, что вы хотите, – только бы не потерять вас! Только не потерять вас – этой мысли я не в силах перенести.

– Да встаньте же.

Я повиновался.

– Вы, право, странный человек. И вы хотите обладать мной, чего бы это вам ни стоило?

– Да, чего бы это мне ни стоило!

– Но какую же цену будет иметь для вас обладание мной, если бы, положим... – она на секунду задумалась, и в глазах ее мелькнуло что-то недоброе, жуткое... – если бы я разлюбила вас, если бы я принадлежала другому?

Все тело мое пронизала дрожь. Я поднял глаза на нее – она стояла предо мной сильная, самоуверенная, и глаза ее светились холодным блеском.

– Вот видите, – продолжала она, – вы пугаетесь одной мысли об этом!

И лицо ее вдруг озарилось приветливой улыбкой.

– Да, меня охватывает ужас, когда я представляю себе, что женщина, которую я люблю, которая отвечала мне взаимной любовью, может без всякой жалости ко мне отдаться другому. Но ведь мне не остается выбора! Что ж, если я эту женщину люблю, безумно люблю! Гордо отвернуться от нее – и в

горделивом сознании своей силы погибнуть, пустить себе пулю в лоб?

Я ношу в душе два идеала женщин. Если мне не удастся найти свой благородный, ясный, как солнце, идеал женщины – жены верной и доброй, готовой делить со мной все, что мне судила судьба, – я не хочу ничего половинчатого и бесцветного! – тогда я предпочитаю отдаться женщине, лишенной добродетели, верности, жалости. Такая женщина в эгоистической величавости своей отвечает моему второму идеалу. Если мне не дано изведать счастье любви во всей его полноте, то я хочу испытать до дна ее страдания, ее муки – тогда я хочу, чтобы женщина, которую я люблю, меня оскорбляла, мне изменяла... и, чем более жестоко, тем лучше. И это – наслаждение!

– В уме ли вы! – воскликнула Ванда.

– Я так люблю вас – всей душой, всеми помыслами! – что только вблизи вас я и могу жить, если жить я должен. Только одним с вами воздухом я и могу дышать. Выбирайте же для меня какой хотите идеал. Сделайте из меня что хотите – своего мужа или своего раба.

– Хорошо же! – сказала Ванда, нахмуривая свои тонкие, но энергично очерченные брови. – Иметь всецело в своей власти человека, который меня интересует, который меня любит, – я представляю себе, что это должно быть весело; в развлечениях у меня, по крайней мере, недостатка не будет. Вы были так неосторожны, что предоставили выбор мне. Так вот, я выбираю: я хочу, чтоб вы были моим рабом, я сделаю из вас игрушку для себя!

– О, сделайте! – воскликнул я со смешанным чувством ужаса и восторга. – Если брак может быть основан только на полном равенстве и согласии, зато противоположности порождают самые сильные страсти. Мы с вами – противоположности, настроенные почти враждебно друг против друга. Отсюда та сильная любовь моя к вам, которая представляет частью ненависть, частью – страх.

Но при таких отношениях одна из сторон должна быть молотом, другая – наковальней. Я хочу быть наковальней. Я не мог бы быть счастлив, если бы должен был смотреть на ту, которую люблю, сверху вниз. Я хочу любить женщину, которую я мог бы боготворить, – а это возможно только в таком случае, если она будет жестока ко мне.

– Что вы, Северин! – воскликнула Ванда почти гневно. – Разве вы считаете меня способной поступать дурно с человеком, который любит меня так, как любите вы, – которого я сама люблю?

– Почему же нет, если я оттого буду только сильнее боготворить вас? Истинно любить можно только то, что выше нас, – женщину, которая подчинит нас себе властью красоты, темперамента, ума, силы воли, – которая будет нашим деспотом.

– Вас, значит, привлекает то, что других отталкивает?

– Да, это так. В этом именно моя странность.

– Ну, в конце концов, во всех наших страстях нет ничего исключительного и странного: кому же, в самом деле, не нравятся красивые меха? И кто же не знает и не чувствует, как близко родственны друг другу сладострастие и жестокость?

- Но во мне все это развито в высшей степени.
- Это доказывает, что над вами разум имеет мало власти и что у вас мягкая, податливая, чувственная натура.
- Разве и мученики были натуры мягкие и чувственные?
- Мученики?
- Наоборот, это были натуры *сверхчувственные* – метафизики, находившие наслаждение в страдании, искавшие самых страшных мучений, даже смерти, – так, как другие ищут радости. К таким сверхчувственным натурам принадлежу и я, сударыня.
- Берегитесь же! Как бы вам не сделаться при этом и мучеником любви, *мучеником женщины...*

\* \* \*

Мы сидим на маленьком балконе Ванды прохладной, душистой летней ночью, и над нами стелется двойная кровля. Поближе – зеленый потолок из вьющихся растений, и в вышине – усеянный бесчисленным множеством звезд небосвод. Из парка доносится тихое, жалобное, влюбленное, призывное мяуканье кошки, а я сижу на скамейке у ног моей богини и рассказываю ей о своем детстве.

- И тогда уже у вас проявлялись эти странности? – спросила Ванда.
- О, да. Я не помню времени, когда у меня их не было. Еще в колыбели, как мне рассказывала впоследствии моя мать, я проявлял «сверхчувственность»: я не выносил здоровую грудь кормилицы и меня вынуждены были вскормить козьим молоком. Маленьким мальчиком я обнаруживал загадочную робость перед женщинами, в которой таилось, в сущности, ненормальное влечение к ним.

Серые своды и полутьма церкви тревожно настраивали меня, а вид блестящих алтарей и образов святых внушал мне настоящий страх. Зато я устремлялся тайком, как к запретной радости, к гипсовой статуе Венеры, стоявшей в небольшой библиотечной комнате моего отца, становился перед ней на колени и возносил к ней молитвы, которым меня научили, – Отче наш, Богородицу и Верую.

Однажды я ночью сошел с кровати, чтобы отправиться к ней. Луна светила мне и освещала богиню бледно-голубым холодным светом. Я распростерся перед ней и целовал ее холодные ноги, как, мне случалось видеть, наши крестьяне целовали стопы мертвого Спасителя.

Непобедимая страсть овладела мною.

Я взобрался повыше, обнял прекрасное холодное тело и поцеловал холодные губы. Вдруг меня охватил невыразимый ужас, и я убежал. Всю ночь мне снилось потом, что богиня стоит против моей постели и грозит мне поднятой рукой.

Меня рано начали учить; таким образом, я скоро поступил в гимназию и там со страстью воспринимал все, что мог мне преподать античный мир. Очень скоро я освоился с богами Греции лучше, чем с религией Христа; вместе с

Парисом я отдавал Венере роковое яблоко, видел горящую Троию и следовал за Одиссеем в его странствиях. Античные образы всякой красоты глубоко запечатлевались в моей душе, оттого в том возрасте, когда все мальчики бывают грубы и грязны, я питал непреодолимое отвращение ко всему низменному, пошлому, некрасивому.

Но всего более низменными и некрасивыми казались мне, подрастающему юноше, любовные отношения к женщине – такие, какими они мне представились на первых порах, в самом простейшем своем проявлении. Я избегал всякого соприкосновения с прекрасным полом – словом, я был сверхчувствен до сумасшествия.

К моей матери поступила – мне было тогда лет четырнадцать приблизительно – новая горничная, прелестное существо, молодая, хорошенькая и роскошно сложенная. Однажды утром, когда я сидел за своим Тацитом, увлекаясь добродетелями древних германцев, девочка подметала мою комнату. Вдруг она остановилась, нагнулась ко мне, не выпуская щетки из рук, и пара полных, свежих, восхитительных губ прижалась к моим. Поцелуй влюбленной маленькой кошки обжег меня всего, но я поднял свою «Германию», как щит против соблазнительницы, и, возмущенный, вышел из комнаты.

Ванда громко расхохоталась:

– Вы не на шутку всегда ищете ровню! Продолжайте, продолжайте!

– Никогда я не забуду еще одну сцену, относящуюся к тому же времени, – заговорил я снова. – К моим родителям приходила часто в гости графиня Соболев, приходившаяся мне какой-то троюродной теткой, женщина величавая, красивая и с пленительной улыбкой, но ненавистная мне, так как она имела в семье репутацию Мессалины. И я держался с ней до последней степени неуклюже, невежливо и злобно.

Однажды мои родители уехали на время из города. Тетка решила воспользоваться их отсутствием, чтобы задать мне примерное наказание. Неожиданно явилась она в комнату в своей подбитой мехом кацавейке, в сопровождении кухарки, судомойки и маленькой кошки, которой я пренебрег.

Без всяких околичностей они меня схватили и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, связали по рукам и ногам; затем тетка со злобной улыбкой засучила рукава и принялась хлестать меня толстой розгой, но так усердно, что кровь брызнула, и я в конце концов, несмотря на весь свой геройский дух, закричал, заплакал и начал просить пощады.

Тогда она велела развязать меня, но, прежде чем совсем оставила в покое, заставила меня на коленях поблагодарить за наказание и поцеловать ее руку.

Представьте себе, однако, этого сверхчувственного глупца! Под розгой этой роскошной красавицы, показавшейся мне в ее меховой душегрейке разгневанной царицей, во мне впервые проснулось мужское чувство к женщине, и тетка начала казаться мне с той поры обворожительнейшей женщиной во всем Божьем мире.

По-видимому, вся моя катовская суровость и вся робость перед женщинами были не чем иным, как утонченнейшим чувством красоты. С этой

поры чувственность возросла в моей фантазии до степени культа своего рода, и я поклялся в душе не расточать ее священных переживаний на обыкновенные существа, а сохранить их для идеальной женщины – если возможно, для самой богини любви.

Я еще был очень молод, когда поступил в университет и поселился в столице, где жила тогда моя тетка. Студенческая комната моя была в то время похожа на комнату доктора Фауста. В ней царил тот же хаотический беспорядок, она вся была загромождена высокими шкапами, битком набитыми книгами, которые я накупил по смехотворно дешевым ценам у еврея-антиквара в Лемберге, глобусами, атласами, картами неба, скелетами животных, масками и бюстами великих людей. Всякую минуту из-за небольшой зеленой печки мог явиться Мефистофель в образе странствующего схоласта.

Изучал я что попало – без разбора, без всякой системы, – химию, алхимию, историю, астрономию, философию, юридические науки, анатомию, литературу; читал Гомера, Вергилия, Оссиана, Шиллера, Гёте, Шекспира, Сервантеса, Вольтера, Мольера, и Коран, и Космос, и мемуары Казановы, и с каждым днем возрастала сумятица в моей душе, и все фантастичнее и абстрактнее становились мои чувства.

И в голове моей неизменно жил идеальный образ красивой женщины, время от времени оживавшей перед моими глазами, среди кожаных переплетов книг и масок, словно видение, на ложе из роз, окруженной крохотными амурами, – то в олимпийском туалете со строгим белым лицом гипсовой Венеры моей, то с пышной массой каштановых кос, со смеющимися голубыми глазами и в красной бархатной, отделанной горностаем кацавейке – в образе моей красивой тетки.

Однажды утром, когда предо мною снова встало из золотого тумана моей фантазии это чарующее видение, я пошел к графине Соболев. Она приняла меня очень любезно и при встрече одарила меня поцелуем, от которого я голову потерял.

В это время ей должно было быть уже лет под сорок, но, как и большинство таких неувядающих прожигательниц жизни, она была все еще соблазнительна и по-прежнему носила отделанную мехом кацавейку, только теперь она была из зеленого бархата и отделана темно-бурой куницей. Но от прежней строгости, которая так восхищала меня тогда, не осталось и следа.

Наоборот, она была так мало жестока ко мне, что без долгих колебаний разрешила мне сделаться ее поклонником.

Она очень скоро угадала мою глупость и невинность метафизика, и ей было приятно делать меня счастливым, видеть меня счастливым. А счастлив я был, действительно, как юный бог!

Каким высоким наслаждением было для меня стоя перед ней на коленях и иметь право целовать ее руки, руки, которыми она тогда наказывала меня! О, что за дивные руки это были! Прекрасной формы, нежные, полные, белые и с восхитительными ямочками! В сущности, я был влюблен только в эти руки. Я затевал с ними нескончаемые игры, погружал их в темный волос меха, и

высвобождал, и снова погружал, держал их перед огнем – наглядеться на них досыта не мог!

Ванда невольно взглянула на свои руки, я это заметил и не мог не улыбнуться:

– Что элемент сверхчувственности всегда преобладал в моей душе, вы можете видеть из того, что, будучи влюблен в свою тетку, я был влюблен, в сущности, в жестокое наказание розгами, которому она подвергла меня, а во время увлечения одной молодой актрисой, за которой я ухаживал года два спустя, – был влюблен только в ее роли. Позже я увлекался еще одной очень уважаемой женщиной, разыгрывавшей неприступную добродетель и в заключение изменившей мне для одного богатого еврея.

Вот оттого-то я и ненавижу эту разновидность поэтичных, сентиментальных добродетелей, что меня обманула, продала женщина, лицемерно рисовавшаяся самыми строгими принципами, самыми идеальными чувствованиями. Покажите мне женщину, достаточно искреннюю и честную, чтобы сказать мне: «Я – Помпадур, я – Лукреция Борджиа», – и я буду молиться на нее!

Ванда встала и открыла окно.

– У вас оригинальная манера – разгорячать фантазию, взвинчивать нервы, ускорять биение пульса. Вы окружаете порок ореолом, если только вы искренни. Ваш идеал – смелая, гениальная куртизанка. О, вы из тех мужчин, которые способны бесповоротно погубить женщину!

\* \* \*

Среди ночи кто-то постучал ко мне в окно; я встал, открыл его и испуганно отшатнулся. За окном стояла Венера в мехах – точь-в-точь такая, какой она явилась ко мне в первый раз.

– Вы взволновали меня вашими рассказами – я ворочалась с боку на бок в постели, не могу уснуть. Приходите-ка, поболтаем.

– Сию минуту.

Когда я вошел, Ванда сидела на корточках перед камином, стараясь растопить его.

– Осень уже чувствуется, – заговорила она, – ночи уже порядочно холодные. Боюсь, что вам это будет неприятно, но я не могу сбросить своего мехового плаща, пока в комнате не станет тепло.

– Неприятно... плутовка!.. Вы ведь знаете... – Я обнял ее и поцеловал.

– Знаю, положим, – но мне не ясно, откуда у вас это пристрастие к мехам.

– Это врожденное, я обнаруживал его еще в детстве. Впрочем, на людей нервных меха вообще действуют возбуждающе, и это вполне естественно объясняется. В них есть какое-то физическое обаяние, которому никто не в силах противиться, – какое-то острое, странное очарование. Наука доказала существование известного родства между электричеством и теплотой, а родственное действие их на человеческий организм и совсем бесспорно. Жаркие пояса порождают более страстную породу людей, теплая атмосфера

вызывает возбуждение. Точно такое же влияние оказывает электричество.

Этим объясняется волшебное влияние присутствия *кошек* на очень впечатлительных людей – то обстоятельство, что эти грациозные зверьки, эти живые электрические батареи, искрящиеся и изящные, были любимцами таких людей, как Магомет, кардинал Ришелье, Кребильон, Руссо, Виланд.

– Итак, женщина, которая носит меха, не что иное, как большая кошка, как электрическая батарея большой силы? – воскликнула Ванда.

– Именно. Этим я объясняю себе и то символическое значение, которое меха приобрели как атрибут могущества и красоты.

В этом смысле в былое время монархи и могущественная знать присваивали себе исключительное право ношения их, а великие художники пользовались ими при изображении королей и красавиц, – и Рафаэль для божественных форм Форнарины и Тициан для розового тела своей возлюбленной не нашли более драгоценной декорации, чем темные меха.

– Благодарю вас за этот учено-эротический трактат, но вы не все мне сказали; вы связываете с мехом еще что-то другое, субъективное.

– Вы правы. Я уже неоднократно говорил вам, что для меня в страдании заключается особенная, своеобразная прелесть; что ничто так не в силах взвинтить мою страсть, как тирания, жестокость и – прежде всего – неверность прекрасной женщины. А такую женщину, этот странный идеал в области эстетики безобразия – с душой Нерона в теле Фрины, – я не могу представить себе без мехов.

– Я понимаю, – проговорила Ванда, – они придают женщине что-то властное, импозантное.

– Не одно это, – продолжал я. – Вы знаете, что я – «сверхчувствен», что у меня все коренится больше всего в фантазии и из фантазии питается. Я развился очень рано и с ранних лет обнаруживал повышенную впечатлительность. В десятилетнем возрасте мне попали в руки жития мучеников. Я помню свое чувство ужаса и в то же время восторга, когда я читал, как они изнывали в темницах, как их клали на раскаленные колосники, простреливали стрелами, бросали в кипящую смолу, отдавали на съедение диким зверям, распинали на кресте, – и они выносили все эти ужасы как будто с радостью.

С тех пор мне начали представляться страдания, жестокие мучения – наслаждением, и особенно высоким наслаждением – переносить их от прекрасной женщины, потому что женщина была для меня с самого раннего возраста средоточием всего поэтического, как и всего демонического.

Женщина была моим истинным культом.

Я видел в чувственности нечто священное – даже единственное священное; в женщине и ее красоте – нечто божественное, так как главное назначение ее составляет важнейшую задачу жизни: продолжение рода. В женщине я видел олицетворение природы, *Изиду*, а в мужчине – ее жреца, ее раба. Я исповедовал, что женщина должна быть по отношению к мужчине жестока, как природа, которая отталкивает от себя то, что служило для ее надобностей, когда больше в нем не нуждается, и что ему, мужчине, все

жестокости, даже самая смерть от ее руки должны казаться высоким счастьем сладострастия.

Я завидовал королю Гунтеру, которого властная Брунгильда связала в брачную ночь; бедному трубадуру, которого его своенравная повелительница велела зашить в волчью шкуру, чтобы потом затравить его, как дикого зверя. Я завидовал рыцарю Этираду, которого смелая амазонка Шарка хитростью поймала в лесу близ Праги, затащила на гору и, позабавившись им некоторое время, велела его колесовать...

– Отвратительно, ужасно! – воскликнула Ванда. – Желала бы я, чтобы вы попали в руки женщины этой дикой расы, – в волчьей шкуре, под зубами псов или на колесе, – поэзия для вас небось исчезла бы!

– Вы думаете? Я этого не думаю.

– Ну, вы в самом деле не вполне нормальны.

– Возможно. Выслушайте меня, однако, до конца. С тех пор я с настоящей жадностью набросился на книги, в которых описывались самые ужасные жестокости, и с особенным наслаждением рассматривал картины, гравюры, на которых они изображались, – кровожадных тиранов, сидевших на троне, инквизиторов, подвергавших еретиков пыткам, сожжению, казням всякого рода, всех женщин, отмеченных на страницах всемирной истории, известных своим сладострастием, своей красотой, своим могуществом, вроде Лукреции Борджиа, Агнесы Венгерской, королевы Марго, Изабеллы, султанши Роксоланы, монархинь восемнадцатого столетия, – и всех их я видел в мехах или в горностаем подбитых мантиях.

– И оттого меха пробуждают ваши давнишние странные фантазии, – сказала Ванда, кокетливо кутаясь в то же время в свой великолепный меховой плащ, и темные блестящие шкурки соболей обворожительно мерцали, охватывая ее грудь и руки. – А сейчас как вы чувствуете себя? Как будто вас уже наполовину колесовали?

Ее зеленые глубокие глаза остановились на мне со своеобразным насмешливым довольством, когда я, охваченный страстью, не в силах владеть собой, упал перед ней на колени и обвил ее руками.

– Да... да... вы пробудили в моей душе мою заветную, долго дремавшую фантазию...

– И вы хотели бы?..

Она положила руку мне на затылок.

Под теплотой маленькой руки, под нежным взглядом ее глаз, испытующе смотревших на меня из-за полусомкнутых век, меня охватил сладостный туман, я оцепенел.

– *Быть рабом прекрасной женщины, женщины, которую я люблю, которую боготворю!*

– И которая за то жестоко обращается с вами! – перебила Ванда, засмеявшись.

– Да, которая меня связывает и наносит мне удары, топчет меня ногами, отдаваясь другому.

– И которая, доведя вас до сумасшествия от ревности, зайдет в своей

наглости до того, что подарит вас счастливому сопернику и отдаст вас на произвол его грубости... Почему не закончить этим? Разве вам такая заключительная картина не нравится?

Я с испугом взглянул на Ванду:

– Вы превосходите мои грезы.

– Да, мы, женщины, изобретательны. Берегитесь. Когда вы найдете воплощение своего идеала, легко может случиться, что она будет поступать с вами более жестоко, чем вам было бы приятно.

– Боюсь, что я уже нашел свой идеал! – воскликнул я, прильнув пылающим лицом к ее коленям.

– Не во мне же?! – воскликнула Ванда, сбросив меховой плащ и, смеясь, забежав по комнате.

Я слышал ее смех, спускаясь с лестницы, и, остановившись в раздумье во дворе, далеко еще слышал сверху ее веселый, безудержный смех.

\* \* \*

– Итак, вы хотите, чтобы я воплотила собой ваш идеал? – лукаво спросила Ванда, когда мы сегодня встретились в парке.

В первую минуту я не нашелся, что сказать ей. В душе моей боролись самые противоречивые чувства. Она тем временем опустилась на каменную скамью, вертя в руках цветов.

– Ну, что же... хотите?

Я стал на колени и взял ее руки:

– Еще раз прошу вас, будьте моей женой, моей верной, искренней женой! Если вы этого не можете, тогда будьте моим идеалом... но уж тогда совсем – открыто немилосердно!

– Вы знаете, что я решила отдать вам через год свою руку, если убедите меня, что вы тот, кого я ищу, – ответила Ванда очень серьезно. – Но я думаю, что вы будете мне благодарны, если я осуществлю вашу фантазию. Ну... что же вы предпочитаете?

– Я думаю, что в вашей натуре таится все, что рисуется моему воображению.

– Вы ошибаетесь.

– Я думаю, – продолжал я, – что вам должно доставлять удовольствие держать мужчину всецело в своих руках, мучить его...

– Нет, нет! – горячо воскликнула она. – А может быть... – раздумчиво сказала она после паузы. – Я перестала понимать себя самое, но в одном я должна вам признаться. Вы развратили мою фантазию, разожгли мне кровь – мне начинает нравиться все то, что вы говорили. Меня увлекает восторг, с которым вы говорите о Помпадур и о множестве других женщин, эгоистичных, легкомысленных и жестоких...

Все это запало мне в душу и побуждает меня уподобиться этим женщинам, которые, при своей порочности, были всю свою жизнь рабски боготворимы и даже после своей смерти сохранили волшебное обаяние.

Вы кончите тем, что сделаете и из меня миниатюрного деспота. Помпадур для домашнего употребления...

– Так что же! – возбужденно воскликнул я. – Если эти свойства заложены в вашей душе, – дайте волю своему влечению! Только не наполовину! Если вы не можете быть доброй, верной женой – будьте дьяволом!

Я был взволнован до истомы, до изнеможения. Близость прекрасной женщины зажигала во мне кровь – я сам не знал, что говорил, помню только, что я целовал ее ноги и потом поднял ее ногу и поставил на свой затылок.

Но она быстро отдернула ее и поднялась почти гневно.

– Если вы меня любите, Северин, – быстро заговорила она, и голос ее звучал резко и повелительно, – то никогда больше не говорите об этих вещах. Понимаете, никогда! Кончится тем, что я стану в самом деле... – она улыбнулась и снова села.

– Я говорю совершенно серьезно! – воскликнул я в полузабытьи. – Я так боготворю вас, что готов переносить от вас все, только бы иметь право оставаться всю жизнь вблизи вас.

– Северин... еще раз предостерегаю вас...

– Вы напрасно меня предостерегаете. Делайте со мной что хотите, – только не отталкивайте меня совсем от себя!

– Северин, – сказала тем же тоном Ванда, – я молода и легкомысленна – вы серьезно рискуете, отдаваясь до такой степени в мою власть. В конце концов... вы можете... вы можете в самом деле сделаться моей игрушкой. Кто поручится вам тогда, что я не злоупотреблю вашим безумием?

– Ваше благородное сердце.

– Власть портит, я могу стать заносчивой...

– И будь заносчивой, – воскликнул я, – топчи меня ногами...

Ванда обвила рукой мою шею, заглянула мне в глаза и покачала головой:

– Боюсь, я этого не сумею, но я попытаюсь... ради тебя! Потому что я люблю тебя, Северин, – так люблю, как еще никогда никого не любила!

\* \* \*

Сегодня она вдруг надела шляпу и шаль и предложила мне пойти с ней в магазин. Там она велела подать ей хлыст – из длинного ремня на короткой ручке, такой, какие употребляются для собак.

– Эти подойдут вам, вероятно, – сказал продавец.

– Нет, эти слишком малы, – ответила Ванда, искоса оглянувшись на меня. – Мне нужен большой...

– Вероятно, для бульдога? – догадался торговец.

– Да, – в таком роде, какие употребляются в России для непокорных рабов.

Она порылась и нашла наконец хлыст, при виде которого меня проняло жуткое чувство.

– Теперь прощайте, Северин, – сказала она при выходе из магазина, – мне еще нужно сделать кой-какие покупки, при которых вам не следует сопровождать меня.

Я простился и пошел прогуляться, а возвращаясь, увидел Ванду. Она выходила из лавки скорняка и знаком подозвала меня.

– Подумайте еще раз, – заговорила она с довольным видом. – Я никогда не скрывала от вас, что меня увлек в вас преимущественно ваш серьезный, мыслящий ум. Понятно, что теперь меня радостно волнует мысль – видеть этого серьезного человека у своих ног, так беззаветно отдавшегося мне, так восторженно... Но долго ли это так будет? Женщина может любить мужчину, раба же она унижает и в конце концов отшвыривает его от себя ногой.

– Так отшвырни меня ногой, когда я надоем тебе! Я хочу быть твоим рабом...

– Я чувствую, что во мне дремлют опасные наклонности, – заговорила после паузы Ванда, когда мы прошли вместе несколько шагов, – а ты их пробуждаешь, и не в свою пользу, ты это должен же понять! Ты так увлекательно рисуешь жажду наслаждений – жестокость, высокомерную властность...

Что ты скажешь, если я поддамся искушению и на тебе первом испробую силу, – как тиран Дионисий, приказавший изжарить в новоизобретенном железном быке его изобретателя, чтобы на нем первом убедиться, действительно ли его крики и предсмертное хрипенье звучат, как рев быка...

Что, если я окажусь женщиной-Дионисием?

– О, будь Дионисием! – воскликнул я. – Тогда осуществится моя греза. Доброй или злой – тебе я принадлежу весь, выбирай сама. Меня влечет рок, который я ношу в своей груди, – влечет властно, демонически...

\* \* \*

«Любимый мой!

Я не хочу видеть тебя ни сегодня, ни завтра. Приходи только послезавтра вечером и – *рабом моим*.

Твоя повелительница

**Ванда».**

*Рабом моим* было подчеркнуто.

Я получил записку рано утром, прочел, перечитал ее снова, затем велел оседлать себе осла – самое подходящее верховое животное для ученого – и поехал в горы, чтобы заглушить там среди величавой природы Карпат мою страсть, мое томление...

\* \* \*

И вот я вернулся – усталый, истомленный голодом и жаждой и прежде всего влюбленный.

Я быстро переодеваюсь и через несколько секунд стучусь у ее двери.

– Войдите!

Я вхожу. Она стоит среди комнаты в белом атласном платье, струящемся,

как потоки света, вдоль ее тела, и в кацавейке из пурпурного атласа с роскошной, великолепной горностаевой опушкой, с бриллиантовой диадемой на осыпанных пудрой, словно снегом, волосах, со скрещенными на груди руками, со сдвинутыми бровями.

– Ванда!

Я бросился к ней, хочу охватить ее руками, поцеловать ее... Она отступает на шаг и окидывает меня взглядом с головы до ног:

– Раб!

– Повелительница моя!.. – Я опускаюсь на колени и целую подол ее платья.

– Вот так!

– О, как ты прекрасна!

– Я нравлюсь тебе? – Она подходит к зеркалу и оглядывает себя с горделивым удовольствием.

– Ты сведешь меня с ума!

Она презрительно выпятила нижнюю губу и насмешливо взглянула на меня из-за полуопущенных век:

– Подай мне хлыст.

Я оглянулся вокруг, намереваясь встать за ним.

– Нет! Оставайся на коленях! – воскликнула она, подошла к камину, взяла с карниза хлыст и хлестнула им по воздуху, глядя с улыбкой на меня, потом начала медленно засучивать рукава кацавейки.

– Дивная женщина! – воскликнул я.

– Молчи, раб!

Посмотрев на меня мрачным, даже диким взглядом, она вдруг ударила меня хлыстом... Но в ту же секунду склонилась ко мне с выражением сострадания на лице, нежно обвила мою голову рукой и спросила полусконфуженно, полуиспуганно:

– Я сделала тебе больно?

– Нет! Но если бы и сделала, – боль, которую ты мне причинишь, для меня наслаждение. Бей же, если это доставляет тебе удовольствие.

– Но мне это совсем не доставляет удовольствия.

Меня снова охватило то странное опьянение.

– Бей меня! – молил я. – Бей меня, без всякой жалости!

Ванда взмахнула хлыстом и два раза ударила меня.

– Довольно тебе?

– Нет!

– Seriously нет?

– Бей меня, прошу тебя, – для меня это наслаждение.

– Да, потому что ты отлично знаешь, что это несерьезно, что у меня не хватит духу сделать тебе больно. Мне противна вся эта грубая игра. Если бы я действительно была такой женщиной, которая способна хлестать своего раба, я была бы тебе отвратительна.

– Нет, Ванда, нет! Я люблю тебя больше, чем самого себя, я отдаюсь тебе весь, на жизнь и на смерть, – ты в самом деле можешь делать со мной все, что

тебе вздумается, по первому безудержному капризу...

– Северин!

– Топчи меня ногами! – воскликнул я, распростершись перед ней вниз лицом.

– Я ненавижу всякую комедию! – нетерпеливо воскликнула Ванда.

Наступила жуткая тишина.

– Северин, предостерегаю тебя еще раз, в последний раз... – прервала молчание Ванда.

– Если любишь меня, будь жестока со мной! – умоляюще проговорил я, подымая глаза на нее.

– Если люблю тебя? – протяжно повторила Ванда. – Ну хорошо же! – Она отступила на шаг и оглядела меня с мрачной усмешкой. – Так будь же моим рабом и почувствуй, что значит отдаться всецело в руки женщины!

И в тот же миг она наступила ногой на меня.

– Ну, раб, нравится тебе это?

И взмахнула хлыстом.

– Встань!

Я хотел встать на ноги.

– Не так! – приказала она. – На колени!

Я повиновался, и она начала хлестать меня.

Удары – частые, сильные – быстро сыпались мне на спину, на руки, каждый врезывался мне в тело, и оно ныло от жгучей боли, но боль приводила меня в восторг, потому что мне причиняла ее она, которую я боготворил, за которую во всякую минуту готов был отдать жизнь.

Она остановилась.

– Я начинаю находить в этом удовольствие, – заговорила она. – На сегодня довольно, но мной овладевает дьявольское любопытство – посмотреть, насколько хватит твоих сил, жестокое желание – видеть, как ты трепещешь под ударами твоего хлыста, как извиваешься... потом услышать твои стоны и жалобы... и мольбы о пощаде – и все хлестать, хлестать, пока ты не лишишься чувств. Ты разбудил опасные наклонности в моей душе. Ну, а теперь вставай.

Я схватил ее руку, чтобы прижаться к ней губами.

– Что за дерзость!

Она оттолкнула меня ногой от себя.

– Прочь с глаз моих, раб!

Как в лихорадке, проспал я в смутных снах всю ночь. Едва светало, когда я проснулся.

Что случилось в действительности из того, что проносится в моем воспоминании? Что было и что я только видел во сне? Меня хлестали, это несомненно – я еще чувствую боль от каждого удара, я могу сосчитать жгучие красные полосы на своем теле. И хлестала меня она! Да, теперь мне все ясно.

Моя фантазия стала действительностью. Что же я чувствую? Разочаровало ли меня превращение моей грезы в действительность?

Нет! Я только немного устал, но ее жестокость восхищает меня и теперь. О, как я люблю ее, как боготворю ее! Ах, как бледны все эти слова для

выражения того, что я к ней чувствую, как я отдался всем существом! Какое это блаженство – быть ее рабом!

\* \* \*

Она окликает меня с балкона. Я бегу наверх. Она стоит на пороге и дружески протягивает мне руку.

– Мне стыдно! – проговорила она, склонившись головой ко мне на грудь, когда я обнимал ее.

– Чего стыдно?

– Постарайтесь забыть безобразную вчерашнюю сцену, – сказала она дрожащим голосом. – Я исполнила ваш безумный каприз – теперь будемте благоразумны, будем любить друг друга, будем счастливы, а через год я стану вашей женой.

– Моей повелительницей! – воскликнул я. – А я – вашим рабом!

– Ни слова больше о рабстве, о жестокости, о хлысте... – перебила меня Ванда. – Из всего этого я согласна оставить вам одну только меховую кофточку, не больше. Пойдемте, помогите мне надеть ее.

\* \* \*

Маленькие бронзовые часы с фигуркой Амура, только что выпустившего стрелу, пробили полночь.

Я встал, хотел уйти.

Ванда ничего не сказала, только обвила меня руками, увлекла назад на оттоманку и снова начала целовать меня... И так понятен, так убедителен был этот немой язык!..

Но он говорил еще больше, чем я мог осмелиться понять, – такой страстной истомой дышало все существо Ванды, столько неги сладострастья было в полузакрытых, отуманенных глазах ее, в искрах огненного каскада волос под белой пудрой, в шелесте белого и красного атласа, сверкавшего переливами при каждом ее движении, в волнующихся складках горностая, в который она куталась с небрежной грацией.

– Ванда, умоляю тебя... – бормотал я, заикаясь, – но ты рассердишься...

– Делай со мной, что хочешь... – шептала она.

– Я хочу, чтобы ты топтала меня ногами... умоляю тебя... иначе я помешаюсь...

– Ведь я запретила тебе говорить об этом! – строго воскликнула Ванда. – Или ты неисправим?

– Ах, ты не знаешь, как безумно я люблю тебя!

Я опустил на колени и зарыл свое пылающее лицо в складках ее платья.

– Я думаю, – задумчиво начала Ванда, – что все это безумие твое – одна только демоническая, неудовлетворенная чувственность. Это – болезненное уклонение, свойственное нашей природе. Если бы ты был менее добродетелен, ты был бы совершенно нормален.

– Ну сделай же меня нормальным... – пробормотал я.

Я перебирал руками ее волосы и искрящийся переливом мех, вздымавшийся и опускавшийся на груди ее, словно освещенная луною волна, и туманивший мне голову.

И я целовал ее... Нет! – она меня целовала – так бурно, так исступленно, словно хотела испепелить меня своими поцелуями. Я был как в бреду... сознание я давно потерял, а теперь я совершенно задышался. Я рванулся от нее.

– Что с тобой?

– Я страдаю невыразимо...

– Страдаешь? – Она громко и весело расхохоталась.

– Ты смеешься! – простонал я. – О, если бы ты могла понять...

Ванда вдруг притихла, взяла руками мою голову, повернула меня к себе и страстно, порывисто прижала меня к груди.

– Ванда... – в беспамятстве бормотал я.

– Я забыла – тебе ведь страдание приятно! – воскликнула она и снова засмеялась. – Но погоди, я снова вылечу тебя – потерпи!

– Нет, я не стану больше допрашивать тебя, хочешь ли ты отдаться мне навеки или только на одно блаженное мгновение! Я хочу взять свое счастье... Теперь ты моя, и лучше мне когда-нибудь потерять тебя, чем никогда не иметь счастья обладать тобой.

– Вот так, теперь ты благоразумен...

И она снова обожгла меня своими жгучими губами...

Не помня себя, я рванул горностаи и все кружевные покровы и прижал к своей груди ее обнаженную, порывисто дышавшую грудь...

Я потерял сознание, обезумел...

Только теперь мне вспоминается, что я увидел каплющую с моей руки кровь и апатично спросил:

– Ты меня поцарапала?

– Нет, кажется, я укусила тебя.

\* \* \*

Замечательно, что всякие переживания и отношения в жизни принимают совершенно иную физиономию, как только появится новое лицо.

Мы проводили с Вандой упоительные дни – бродили по горам, вдоль озер, читали вместе, и я заканчивал ее портрет. А как мы любили друг друга! Каким счастьем светилось ее очаровательное лицо!

И вдруг приезжает ее подруга, какая-то разведенная жена, женщина немного старше, немного опытнее Ванды, немного менее добросовестная – и вот уже во всем сказывается ее влияние.

Ванда хмурится, часто бывает со мной несколько нетерпелива.

Неужели она уже не любит меня?!

\* \* \*

Почти две недели уже длится это нестерпимое положение.

Подруга живет у нее, мы никогда не бываем одни. Вокруг обеих молодых женщин увивается толпа знакомых мужчин. Среди всего этого я играю нелепую и смешную роль с моей любовью, с моей серьезностью и моей тоской.

Ванда обращается со мной, как с чужим.

Сегодня во время прогулки она отстала от общества, оставшись со мной. Я видел, что она это сделала умышленно, и ликовал. Но что она мне сказала!

– Моя подруга не понимает, как я могу любить вас. Она не находит вас ни красивым, ни особенно увлекательным в каком-нибудь другом отношении. Вдобавок она занимает меня с утра до ночи рассказами о веселой блестящей жизни в столице, напевает мне о том, какой успех я могла бы иметь, какую блестящую партию могла бы сделать, каких красивых и знатных поклонников могла бы приобрести. Но что мне до всего этого, когда я люблю вас!

На мгновение у меня дыхание перехватило, потом я сказал:

– Я не хочу становиться у вас на дороге, – клянусь вам, Ванда. Забудьте обо мне совсем.

Сказав это, я приподнял шляпу и пропустил ее вперед. Она изумленно посмотрела на меня, но не откликнулась ни звуком.

Но когда я на обратном пути снова случайно встретился с ней, она украдкой пожала мне руку и посмотрела на меня так тепло, многообещающе, что я вмиг забыл все муки последних дней и вмиг зажили все мои раны.

Только теперь я уяснил себе хорошенько, как я люблю ее.

\* \* \*

– Моя подруга жаловалась мне на тебя, – сказала мне Ванда сегодня.

– Она чувствует, по-видимому, что я ее презираю.

– Да за что ты ее презираешь, глупенький?! – воскликнула Ванда, взяв меня за уши.

– За то, что она лицемерка. Я уважаю только добродетельных женщин или таких, которые откровенно живут для наслаждения.

– Как я! – шутливо заметила Ванда. – Но видишь ли, дитя мое, женщине это возможно только в самых редких случаях. Она не может быть ни так весело чувственна, ни так духовно свободна, как мужчина; ее любовь представляет соединение чувственности с духовной привязанностью. Ее сердце чувствует потребность прочно привязать к себе мужчину, между тем как сама она склонна к переменам.

Отсюда возникает разлад, возникает большей частью против ее воли, ложь и обман и в поступках, и во всем ее существе, – и все это портит ее характер.

– Конечно, это правда. Трансцендентный характер, который женщина хочет навязать любви, приводит ее к обману.

– Но свет и требует его! – перебила меня Ванда. – Посмотри на эту женщину: у нее в Лемберге муж и любовник, а здесь она приобрела еще нового поклонника и обманывает их всех, а в свете она всеми уважаема.

– Да пусть ее, – только бы она тебя оставила в покое.

– И за что относиться так презрительно? – с живостью продолжала Ванда. – Каждой женщине свойствен инстинкт, склонность – извлекать пользу из своих чар. И есть своя заманчивость в том, чтобы отдаваться без любви, без наслаждения, – сохраняешь хладнокровие и можешь воспользоваться своим преимуществом.

– Ты ли это говоришь, Ванда?

– Отчего же? Вот что я вообще должна тебе сказать, заметь это: *никогда не будь спокоен за женщину, которую любишь*, потому что природа женщины таит в себе больше опасностей, чем ты думаешь. Женщины не так хороши, как их представляют их почитатели и защитники, и не так дурны, как их изображают их враги. Характерная особенность их в том, что они бесхарактерны. Самая лучшая женщина может унизиться моментами до грязи, и самая дурная неожиданно возвышается иногда до добрых, высоких поступков и пристыживает тех, кто относится к ней презрительно.

Нет женщины ни хорошей, ни дурной, которая не была бы способна во всякое время и на самые грязные, и на самые чистые, на дьявольские, как и на божественные, мысли, чувства и поступки.

Дело в том, что женщина осталась, несмотря на все успехи цивилизации, такой, какой она вышла из рук природы: она сохранила характер дикаря, который может оказаться способным на верность и на измену, на великодушие и на жестокость, смотря по господствующему в нем в каждую данную минуту чувству. Во все эпохи нравственный характер складывался только под влиянием серьезного, глубокого образования. Мужчина всегда следует принципам – даже если он эгоистичен, своекорыстен и зол; женщина же повинуется только побуждениям.

Не забывай этого и никогда не будь уверен в женщине, которую любишь.

\* \* \*

Подруга уехала. Наконец вечер наш, мы одни. Словно всю любовь, которой она все время меня лишала, Ванда приберегла для этого блаженного вечера – так она ласкова, сердечна, нежна.

Какое счастье – прильнуть устами к ее устами, замереть в ее объятиях и видеть ее потом, когда она, вся изнемогшая, вся отдавшись мне, покоится на груди моей, а глаза наши, отуманенные упоением страсти, тонут друг в друге.

Не могу осмыслить, не могу поверить, что эта женщина – моя, вся моя...

– В одном она все же права, – заговорила Ванда, не пошевелившись, даже не открывая глаз, – точно во сне.

– Кто?

Она промолчала.

– Твоя подруга?

Она кивнула головой.

– Да, в этом она права... Ты не мужчина, ты – мечтатель, ты – увлекательный поклонник и был бы, наверное, нецененным рабом, – но как мужа я себе не могу представить тебя.

Я испугался.

– Что с тобой? Ты дрожишь?

– Я трепещу при мысли, как легко я могу лишиться тебя, – ответил я.

– Разве ты от этого менее счастлив теперь? Лишает ли тебя какой-нибудь доли радостей то, что до тебя я принадлежала другим, что после тебя мною будут обладать другие? И уменьшится ли твое наслаждение, если одновременно с тобой будет наслаждаться счастьем другой?

– Ванда!

– Видишь ли, это был бы исход. Ты не хочешь потерять меня, мне ты дорог и духовно так близок и нужен мне, что я хотела бы всю жизнь прожить с тобой, если бы при тебе...

– Что за мысль у тебя! – воскликнул я. – Ты внушаешь мне ужас к себе...

– И ты меньше любишь меня?

– Напротив!

Ванда приподнялась, опершись на левую руку.

– Я думаю, – сказала она, – что для того, чтобы навеки привязать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда-либо так, как боготворят гетеру?

– В неверности любимой женщины таится действительно мучительная прелесть, высокое сладострастие.

– И для тебя? – быстро спросила Ванда.

– И для меня.

– И, значит, если я доставлю тебе это удовольствие... – насмешливо протянула Ванда.

– То я буду страдать чудовищно, но боготворить тебя буду больше... Только обманывать меня ты не должна! У тебя должно хватить демонической силы сказать мне: «Любить я буду одного тебя, но счастье буду дарить всякому, кто мне понравится».

Ванда покачала головой:

– Мне противен обман, я правдива, – но какой мужчина не согнется под бременем правды? Если бы я сказала тебе: «Эта чувственно веселая жизнь, это язычество – мой идеал», – хватило бы сил у тебя вынести это?

– О да. Я все снесу от тебя, только бы не лишиться тебя. Я ведь чувствую, как мало я для тебя, в сущности, представляю.

– Что ты!..

– Что ж, это правда, – сказал я. – И вот потому-то...

– Потому ты хотел бы... – она лукаво улыбнулась, – ведь я отгадала?

– Быть твоим рабом! – воскликнул я. – Твоей неограниченной собственностью, лишенной собственной воли, которой ты могла бы распоряжаться по своему усмотрению и которая поэтому никогда не стала бы тебе в тягость. Я хотел бы – пока ты будешь пить полной чашей радость жизни, упиваться веселым счастьем, наслаждаться всею роскошью олимпийской любви – служить тебе, обувать и разувать тебя.

– В сущности, ты не так уж не прав, – ответила Ванда, – потому что только в качестве моего раба ты мог бы вынести то, что я люблю других; кроме того,

свобода наслаждений античного мира и немыслима без рабства. Видеть перед собой трепещущих, пресмыкающихся на коленях людей – о, это, должно быть, своеобразное чувство подобия богам... Я хочу иметь рабов, – слышишь, Северин?

– Разве я не раб твой?

– Послушай же, – взволнованно сказала Ванда, схватив мою руку, – я буду твоей до тех пор, пока я люблю тебя.

– В течение месяца?

– Быть может, двух.

– А потом?

– Потом ты будешь моим рабом.

– А ты?

– Я? Что же ты спрашиваешь? Я – богиня и иногда буду спускаться тихо, совсем тихо и тайком со своего Олимпа к тебе.

– Но что все эти слова! – заговорила она снова после паузы, уронив голову на руки и устремив взгляд вдаль. – Золотая мечта, фантазия, которая никогда не станет действительностью.

Все существо ее дышало тяжелой, жуткой тоской. Такой я еще никогда ее не видал.

– Отчего же она неосуществима?

– Оттого, что у нас нет рабства.

– Так поедem в такую страну, где оно еще существует, – на Восток, в Турцию! – с живостью воскликнул я.

– Ты согласился бы... Северин... ты серьезно? – спросила Ванда. Глаза ее пылали.

– Да, я серьезно хочу быть твоим рабом. Я хочу, чтобы твоя власть надо мной была освящена законом, чтобы моя жизнь была в твоих руках, чтобы ничто в мире не могло меня защитить, спасти от тебя. О, какое огромное наслаждение было бы чувствовать, что я всецело завишу от твоего произвола, от твоего каприза, от одного мановения твоей руки!

И тогда – какое безмерное блаженство, когда ты в милостивую минуту позволишь рабу твоему поцеловать твои уста, от которых зависит его жизнь или смерть!

Я стал на колени и прильнул горячим лбом к ее коленям.

– Ты бредишь, Северин! – взволнованно проговорила Ванда. – Так безгранично ты любишь меня, в самом деле?

Она прижала мою голову к своей груди и осыпала меня поцелуями.

– Так ты в самом деле хочешь? – нерешительно спросила она снова.

– Клянусь тебе Богом и честью моей, – я твой раб где и когда ты захочешь, как только ты мне это прикажешь! – воскликнул я, едва владея собой.

– А если я поймаю тебя на слове?

– Я согласен.

– Это приобретает для меня такую прелесть, которую едва ли можно сравнить с чем-нибудь. Знать, что человек, который меня боготворит, которого я всей душой люблю, отдался мне до такой степени всецело, что зависит весь от

моей воли, от моего каприза... обладать им, как рабом, в то время как я...

Она бросила на меня странный взгляд.

– Ну, если я стану до крайности легкомысленной, в этом ты будешь виноват, – продолжала она. – Я почти уверена, что ты уже теперь боишься меня, – но ты дал мне клятву....

– И я сдержу ее.

– Об этом уж предоставь мне позаботиться. Теперь я нахожу наслаждение в этом, – теперь это не останется пустой фантазией – клянусь тебе. Ты будешь моим рабом, а я... я постараюсь сделаться Венерой в мехах...

\* \* \*

Я думал, что понял уже наконец эту женщину и знаю ее, а теперь я вижу, что должен начать сначала.

Она составила проект договора, которым я обязываюсь, под честным словом и клятвой, быть ее рабом до тех пор, пока она этого захочет.

Обняв меня рукой за шею, она читает мне вслух этот неслыханный, невероятный документ, и заключением каждого прочитанного пункта служит поцелуй.

– Но как же это? Договор содержит одни обязательства для меня, – говорю я, чтобы подразнить ее.

– Разумеется! – отвечает она с величайшей серьезностью – Отныне ты пересташь быть моим возлюбленным – значит, я освобождаюсь от всех обязанностей, от всяких обетов. На мою благосклонность ты должен смотреть как на милость, прав у тебя больше нет никаких, и ни на какие ты больше претендовать не должен. Власти моей над тобой не должно быть границ.

Подумай, ведь ты отныне на положении немногим лучшем, чем собака, чем неодушевленный предмет. Ты моя вещь, моя игрушка, которую я могу сломать, если это обещает мне минутное развлечение от скуки. Ты – ничто, а я – все. Понимаешь?

Она засмеялась и снова поцеловала меня, но по всему моему телу пробежала дрожь ужаса.

– Не разрешишь ли ты мне поставить некоторые условия? – начал я.

– Условия? – Она нахмурилась. – Ах, ты уже испугался или раскаиваешься!.. Но теперь все это поздно – ты дал мне честное слово, ты поклялся мне. Говори, впрочем.

– Прежде всего я хотел бы внести в наш договор, что ты никогда не расстанешься со мною совсем; а затем – что ты никогда не отдашь меня на произвол грубости какого-нибудь своего поклонника...

– Северин!.. – воскликнула с волнением Ванда, и глаза ее наполнились слезами. – Ты можешь думать, что я способна человека, который так меня любит, так отдается мне в руки...

– Нет, нет! – сказал я, покрывая ее руки поцелуями. – Я не опасаюсь с твоей стороны ничего, что могло бы меня опозорить, – прости мне минутную дурную мысль!

Ванда радостно улыбнулась, прижалась щекой к моей щеке и, казалось, задумалась.

– Ты забыл кое-что, – шепнула она затем лукаво, – и самое важное!

– Какое-нибудь условие?

– Да, что я обязываюсь всегда носить меха. Но я и так обещаю это тебе. Я буду носить их уже по одному тому, что они и мне самой помогают чувствовать себя деспотом, а я хочу быть очень жестока с тобой – понимаешь?

– Я должен подписать договор? – спросил я.

– Нет еще, – я прежде прибавлю твои условия, и вообще подписать ты его должен на своем месте.

– В Константинополе?

– Нет. Я передумала. Какую цену представляет для меня обладание рабом там, где все имеют рабов! Я хочу иметь раба здесь, в нашем цивилизованном, трезвом, буржуазном мире, где раба буду иметь *я одна*, и главное, такого раба, которого отдали в мою власть не закон, не мое право и грубая сила, а только и единственно могущество моей красоты и сила моей личности. Вот что меня прельщает.

Во всяком случае мы уедем куда-нибудь – в какую-нибудь страну, где никто нас не знает и где тебе можно будет, не стесняясь перед светом, выступить в роли моего слуги. Поедем в Италию – может быть, в Рим или в Неаполь.

\* \* \*

Мы сидели у Ванды, на ее оттоманке. Она была в своей горностаевой кофточке с распущенными волосами, развевавшимися, как львиная грива. Она припала к моим губам и высасывала мою душу из тела. У меня кружилась голова, сердце билось, как безумное, у ее сердца... во мне закипала кровь.

– Я хочу быть весь в твоих руках Ванда! – воскликнул я вдруг в одном из тех порывов страсти, во время которых мой отуманенный ум не в силах был правильно мыслить, свободно соображать. – Весь, без всяких условий, без всякого ограничения твоей надо мной власти... хочу зависеть от одного произвола твоей милости или немилости!

Говоря это, я скользнул с оттоманки к ее ногам и смотрел на нее снизу опьяненными страстью глазами.

– Как ты дивно хорош теперь!.. – воскликнула она. – Меня влекут, чаруют твои глаза, когда они смотрят вот так, в истоме, словно замороженные... какой дивный взгляд должен быть у тебя под смертельными ударами хлыста!.. У тебя глаза мученика!..

\* \* \*

Иногда мне все-таки становится немного жутковато – отдаться так всецело, так безусловно в руки женщины... что, если она злоупотребит моей страстью, своей властью?

Ну что ж – тогда я испытаю то, что волновало мое воображение с раннего детства, неизменно наполняя мне душу сладостным ужасом. Глупое опасение. Это просто невинная веселая игра, в которую она будет играть со мной, – не больше. Она ведь любит меня, и добрая она – благородная натура, не способная ни к какой неверности.

Но это все-таки в ее власти – она *может*, если захочет. Какая прелесть в этом сомнении, в этом опасении!

\* \* \*

Теперь я понимаю знаменитую Манон Леско и ее бедного рыцаря, молившегося на нее даже тогда, когда она была уже любовницей другого, даже у позорного столба.

Любовь не знает ни добродетели, ни заслуги. Она любит, и прощает, и терпит все потому, что иначе не может. Нами руководит не здравое суждение – не достоинства или недостатки, которые нам случится подметить, привлекают или отталкивают нас.

Нас влечет и двигает какая-то сладостная и грустная, таинственная сила, и под ее влиянием мы перестаем мыслить, чувствовать, желать – мы позволяем ей толкать себя, не спрашивая даже куда.

\* \* \*

Сегодня на гулянье среди курортных посетителей впервые появился один русский князь, привлечший к себе всеобщее внимание; его атлетическая фигура, необычайно красивое лицо, роскошный туалет и великолепие окружающей его обстановки произвели шумную сенсацию.

Особенно уставились на него дамы – совсем как на дикого зверя. Но он проходил по аллеям мрачный, никого не замечая, в сопровождении двух слуг – негра, одетого с головы до ног в красный атлас, и черкеса, во всем блеске его национального костюма и вооружения.

Вдруг он заметил Ванду, устремил на нее пронизывающий взгляд своих холодных глаз, проследил за ней глазами, пока она шла, поворачивая голову в направлении ее, и, когда она прошла, остановился и долго смотрел ей вслед.

А она... она пожирала его своими искрящимися зелеными глазами и постаралась снова встретиться с ним.

Утонченное кокетство, которое я чувствовал и видел в ее походке, в каждом ее движении, в том, как она на него смотрела, спазмой сжимало мне горло. Когда мы шли домой, я что-то заметил ей об этом. Она нахмурила брови и ответила:

– Чего же ты хочешь? Князь из таких мужчин, которые могут нравиться мне. Он ослепил меня – а я свободна и могу делать что хочу...

– Разве ты меня больше не любишь? – испуганно пробормотал я, заикаясь.

– Люблю я одного тебя, но князю я позволю ухаживать за мной.

– Ванда!..

– Разве ты не раб мой? – невозмутимо напомнила она. – Разве я не жестокая северная Венера в мехах?

Я ничего не ответил. Я чувствовал себя буквально уничтоженным ее словами, холодный взгляд ее вонзился мне в сердце, как кинжал.

– Ты пойдешь сейчас же, узнаешь мне, как зовут князя, где он живет и все, что касается его, – продолжала она.

– Но, Ванда...

– Никаких отговорок. Я требую повиновения! – воскликнула она таким строгим тоном, которого я никогда в ней не подозревал. – Не являйся на глаза мне, пока не будешь иметь возможности ответить на все мои вопросы.

Только к вечеру я мог доставить Ванде сведения, которых она требовала. Она заставила меня стоять перед ней, как слугу, пока она выслушивала мой отчет с улыбкой, откинувшись на спинку кресла.

Выслушав меня, она кивнула головой, видимо довольная.

– Дай мне скамеечку под ноги, – коротко приказала она.

Я повиновался и, поставив скамеечку, уложив на нее ее ноги, остался на коленях перед ней.

– Чем это кончится? – печально спросил я после небольшой паузы.

Она разразилась веселым смехом:

– Да это еще и не начиналось!

– Ты бессердечнее, чем я думал, – сказал я, уязвленный.

– Северин! – серьезно заговорила Ванда. – Я еще ничего не сделала, ровно ничего, – а ты меня уже называешь бессердечной. Что же будет, когда я исполню твои фантазии, когда я стану вести веселую, вольную жизнь, окружу себя поклонниками и осуществлю целиком твой идеал – с попиранием ногами и ударами хлыста?

– Ты слишком серьезно принимаешь мои фантазии.

– Слишком серьезно? Но раз я их осуществляю, то не могу же я останавливаться на шутке! Ты знаешь, как ненавистна мне всякая игра, всякая комедия. Ведь ты этого хотел. Чья это затея – моя или твоя? Я ли тебя соблазнила ею или ты разжег мое воображение? Теперь это для меня, разумеется, серьезно.

– Выслушай меня спокойно, Ванда! – сказал я любовью. – Мы так любили друг друга, мы так бесконечно счастливы, – неужели ты захочешь принести в жертву капризу наше будущее?

– Теперь это уже не простой каприз! – воскликнула она.

– Что же?! – испуганно спросил я.

– Были, конечно, такие задатки во мне самой, – спокойно и задумчиво говорила она, – быть может, без тебя они никогда не обнаружили бы; но ты их пробудил, питал, развил – и теперь, когда это превратилось в могучий инстинкт, когда это охватило меня всю, когда я вижу в этом наслаждение, когда я не хочу и не могу иначе, – теперь ты пятишься... Да ты... мужчина?

– Ванда моя, дорогая моя Ванда! – воскликнул я, лаская, целуя ее.

– Оставь меня... ты не мужчина!..

– А кто же ты? – вспыхнул я.

– Я упряма – ты это знаешь. Ты силен в мечтаниях и слаб в их исполнении; я не такова. Если я что-нибудь решаю сделать, я это исполняю – и тем энергичнее, чем большее встречаю сопротивление. Оставь меня!

Она оттолкнула меня от себя и встала.

– Ванда! – воскликнул я, тоже встав и стоя лицом к лицу перед ней.

– Теперь ты знаешь, какая я. Предостерегаю тебя еще раз. Ты еще свободен перерешить. Я не неволю тебя стать моим рабом.

– Ванда... – с глубоким волнением начал я, и слезы выступили у меня на глазах, – если бы ты знала, как я люблю тебя!

Она презрительно повела губами.

– Ты ошибаешься, ты сама себя не понимаешь, ты не такая дурная, какой рисуешь себя... Натура у тебя слишком благородная...

– Что ты знаешь о моей натуре! – резко перебила она меня. – Ты еще увидишь, какая я...

– Ванда...

– Решайся же, – хочешь ты подчиниться всецело, безусловно?

– А если я скажу: нет?

– Тогда...

Она подошла ко мне, холодная и насмешливая, – и, стоя вот так передо мной, со скрещенными на груди руками, со злой улыбкой на губах, она являлась действительно воплощением деспотической женщины моих грез. Лицо ее было жестко, в глазах ничего, что обещало бы доброту, сострадание.

– Хорошо... – проговорила она наконец.

– Ты сердисься... ты будешь бить меня хлыстом?

– О нет! – возразила она. – Я отпущу тебя. Можешь идти. Ты свободен. Я не удерживаю тебя.

– Ванда... ты гонишь меня?.. Меня, человека, который так тебя любит...

– Да, вас, сударь, – человека, который меня боготворит, – презрительно протянула она, – но который труслив, лжив, изменяет своему слову. Оставьте меня сию минуту...

– Ванда!..

– Вы слышите?

Вся кровь прихлынула мне к сердцу. Я бросился к ее ногам и не в силах был сдержать рыданий.

– Только слез не хватало! – воскликнула она, засмеявшись... (Какой это был ужасных смех!..) – Подите, я не хочу вас видеть больше.

– Боже мой! – крикнул я, не помня себя. – Я сделаю все, что ты приказываешь, буду твоим рабом, твоей вещью, которой ты можешь распоряжаться по своему усмотрению, – только не отталкивай меня!.. Я погибну! Не могу я больше жить без тебя!

Я обнимал ее колени и покрывал ее руки поцелуями.

– Да, ты должен быть рабом и чувствовать хлыст на себе, потому что ты не мужчина... – спокойно проговорила она. Это-то мучительнее всего схватило меня за сердце – что она говорила без всякого гнева, даже без волнения, а в спокойном раздумье... – Теперь я узнала тебя, поняла твою собачью натуру,

способную боготворить того, кто попирает тебя ногами, – и тем больше боготворить, чем больше тебя унижают. Я теперь узнала тебя, а ты еще меня узнаешь...

Она зашагала крупными шагами по комнате, а я замер, уничтоженный, на коленях, с поникшей головой, со слезами, струившимися по лицу.

– Поди сюда, – повелительно бросила мне Ванда, опускаясь на оттоманку. Я повиновался знаку ее руки и сел рядом с ней. Она мрачно смотрела на меня, потом вдруг взгляд ее просветлел, словно осветившись изнутри, она привлекла меня, улыбаясь, к себе на грудь и начала поцелуями осушать мои мокрые от слез глаза.

\* \* \*

В этом-то и заключается трагикомизм моего положения, что я, как медведь под властью укротительницы, могу бежать – и не хочу... и все готов вынести, как только она пригрозит мне отпустить меня на волю.

\* \* \*

Если бы она наконец снова взяла хлыст в руки! В нежной ласковости ее обращения со мной мне чудится что-то злое. Я сам себе кажусь маленькой пойманной мышью, с которой грациозно играет красавица кошка, каждую секунду готовая растерзать ее... и мое мышье сердце готово разорваться. Какие у нее намерения? Что она со мной сделает?

\* \* \*

Она как будто совершенно забыла о договоре, о моем рабстве... Что бы это значило? Может быть, все это было простым упрямством, и она забросила всю эту затею в ту самую минуту, когда увидела, что я не оказал никакого сопротивления и покорился ее самодержавному капризу?

Как она добра ко мне теперь, какая ласковая, любящая!.. Мы переживаем блаженные дни.

\* \* \*

Сегодня она попросила меня прочесть вслух сцену между Фаустом и Мефистофелем, в которой Мефистофель является странствующим схоластом. Глаза ее со странным выражением довольства покоились на мне.

– Не понимаю я этого, – сказала она, когда я кончил чтение, – как может человек носить в душе такие великие, прекрасные мысли, так изумительно ясно, разумно, глубоко анализировать их – и быть в то же время таким мечтателем, таким сверхчувственным простаком.

– Ты довольна... – сказал я, целуя ее руки.

Она нежно провела рукой по моему лбу.

– Я люблю тебя, Северин, – прошептала она, – никого другого я не могла бы любить больше... Будем благоразумны... правда?

Вместо ответа я заключил ее в объятия. Душа моя ширилась чувством огромного, глубокого, скорбного счастья... глаза мои увлажнились, слеза скатилась на ее руку.

– Как можно плакать! – воскликнула она. – Ты совсем дитя...

\* \* \*

Катаясь сегодня, мы встретили в коляске русского князя. Он был явно поражен, увидав меня рядом с Вандой, и, казалось, хотел пронзить ее своими электрическими серыми глазами. Ванда же – я готов был в ту минуту броситься перед ней на колени и целовать ее ноги – как будто совсем и не заметила его, равнодушно скользнула по нему взглядом, как по неодушевленному предмету, и тотчас же повернулась ко мне со своей обворожительной улыбкой.

\* \* \*

Когда я уходил от нее сегодня и пожелал ей спокойной ночи, мне показалось, что она вдруг стала рассеянна и расстроена, без всякого внешнего повода. Что бы такое могло озабочивать ее?

– Мне жаль, что ты уходишь... – сказала она, когда я стоял уже на пороге.

– Ведь это от тебя зависит – сократить срок моего тяжелого испытания... Согласись перестать мучить меня! – умоляюще сказал я.

– Ты, значит, не допускаешь, что это положение и для меня мука... – проронила она.

– Так положи ей конец! – воскликнул я, обнимая ее. – Будь моей женой!

– Ни-ког-да, Северин! – сказала она мягко, но непоколебимо решительно.

– Что ты сказала?!

Я был испуган, потрясен до самой глубины души.

– *Мужем моим ты быть не можешь...*

Я посмотрел на нее, медленно отнял руку, которой все еще обнимал ее талию, и вышел из комнаты.

Она... не позвала, не вернула меня.

\* \* \*

Долгая бессонная ночь. Десятки раз я принимал всевозможные решения и снова отказывался от них.

Утром я написал письмо, в котором объявил, что считаю нашу связь расторгнутой. Рука моя дрожала, когда я писал, и, когда запечатывал письмо, я обжег себе пальцы.

Когда я взошел на лестницу, чтобы отдать письмо горничной, у меня подкашивались ноги, я едва не упал.

Но дверь открыла Ванда сама, выглянув одной головой, на которой белели

папильотки.

– Я еще не причесана, – с улыбкой сказала она. – Что вы хотели?

– Письмо...

– Мне?

Я кивнул головой.

– Ах, вы хотите порвать со мной? – воскликнула она насмешливо.

– Разве вы не заявили вчера, что я не гожусь быть вашим мужем?

– *Повторяю это и сейчас.*

– Ну вот – возьмите... – Я протянул ей письмо, дрожа всем телом; голос не повиновался мне.

– Оставьте его у себя, – сказала она, холодно глядя на меня. – Вы забываете, что теперь речь вовсе не о том, можете ли вы удовлетворить меня как *муж*, – а в *рабы* вы во всяком случае годитесь.

– Сударыня!.. – с негодованием воскликнул я.

– Да, так вы должны называть меня отныне, – сказала Ванда, откидывая голову с невыразимым пренебрежением. – Извольте устроить ваши дела в двадцать четыре часа, послезавтра я еду в Италию, и вы поедете со мной, в качестве моего слуги.

– Ванда!..

– Я запрещаю вам фамильярности со мной, – резко оборвала она. – Запомните также, что являться ко мне вы должны не иначе как по моему зову или звонку и не заговаривать со мной первый, когда я с вами не говорю. Зоветесь вы отныне не Северином, а *Григорием*.

Я задрожал от ярости и... к прискорбию должен сознаться – в то же время и от наслаждения, от острого возбуждения.

– Но... сударыня, вы ведь знаете мои обстоятельства, – смущенно заговорил я, – я ведь завишу еще от своего отца... Сомневаюсь, чтобы он дал мне такую большую сумму, какая нужна для этой поездки...

– Значит, у тебя денег нет, Григорий, – сказала Ванда, очень довольная, – тем лучше! Тогда ты, значит, всецело зависишь от меня и оказываешься в самом деле моим рабом.

– Вы не приняли во внимание, – попытался я возразить, – что, как человек честный, я не могу...

– Я все приняла во внимание. Как человек честный, – голос ее звучал повелительно, – вы обязаны прежде всего сдержать свое слово, свою клятву, последовать за мной, в качестве моего раба, куда я прикажу, и повиноваться мне во всем, что я ни прикажу. А теперь ступай, Григорий!

Я направился к двери.

– Постой... можешь предварительно поцеловать мою руку.

И она с горделивой небрежностью протянула мне руку для поцелуя, а я... я, дилетант, я, осел, я, жалкий раб, припал к ней с порывистой нежностью своими горячими, пересохшими от волнения губами.

Мне еще милостиво кивнули головой – и отпустили меня.

Поздно ночью у меня еще горел огонь и топилась большая зеленая печь, так как мне надо было еще позаботиться о некоторых письмах и бумагах, а осень, как это бывает у нас обыкновенно, вдруг и сразу вступила в свои права.

Вдруг она постучала ко мне в окно деревянной ручкой хлыста.

Я отпер окно и увидел ее в ее опушенной горностаем кофточке и высокой, круглой казацкой шапке из горностая, вроде тех, которые носила иногда Екатерина Великая.

– Готов ты, Григорий? – мрачно спросила она.

– Нет еще, моя повелительница, – ответил я.

– Это слово мне нравится, – отозвалась она, – можешь всегда называть меня своей повелительницей, – слышишь? Завтра утром, в девять часов, мы уезжаем отсюда. До железнодорожной станции ты будешь моим спутником, моим другом, а с той минуты, когда мы сядем в вагон, – ты мой раб, мой слуга. Закрой теперь окно и отопри дверь.

Когда я сделал то, что она приказала, и она вошла в комнату, она спросила, насмешливо сдвинув брови:

– Ну-с, нравлюсь я тебе?

– Ты обв...

– Кто позволил тебе это? – воскликнула она, хлестнув меня хлыстом.

– Вы дивно прекрасны, моя повелительница.

Ванда улыбнулась и уселась на кресле.

– Стань здесь на колени – вот тут, около моего кресла.

Я повиновался.

– Целуй руку.

Я схватил ее маленькую, холодную ручку и поцеловал.

– И губы...

Волна страсти хлынула на меня – я обвил руками тело жестокой красавицы и осыпал, как безумный, пламенными поцелуями ее лицо, губы и грудь, – и она с той же жгучей страстью отвечала на мои поцелуи, с закрытыми глазами, как во сне...

Далеко за полночь мы не могли оторваться друг от друга.

\* \* \*

Ровно в 9 часов утра, как она приказала, все было готово к отъезду, и мы выехали в удобной коляске из маленького горного курорта в Карпатах, в котором разыгралась самая интересная драма моей жизни, запутавшись в сложный узел, и никто из нас предсказать не мог, как он когда-нибудь распутается.

Все шло превосходно вначале. Я сидел рядом с Вандой, она, не умолкая, болтала со мной мило, увлекательно, остроумно, как с добрым другом, об Италии, о новом романе Писемского, о музыке Вагнера. Дорожный костюм ее состоял из своего рода амазонки, черного суконного платья с короткой кофточкой, отделанной мехом, плотно облегавшей ее стройные формы и

великолепно обрисовывавшей их. Поверх платья на ней была темная дорожная шубка.

На волосах, собранных в античный узел, сидела маленькая темная меховая шапочка, с которой ниспадала повязанная вокруг нее черная вуаль.

Ванда была очень хорошо настроена, шаловливо клала мне конфеты в рот, причесывала меня, развязывала мне галстук, повязывала снова прелестной маленькой петлей, набрасывала мне на колени шубку и под ней украдкой сжимала мои пальцы, а когда наш возница-еврей заклевал носом, она даже поцеловала меня – и холодные губки ее дышали свежим, морозным ароматом – словно юная роза, расцветшая осенью среди пожелтелых листьев и совсем обнаженных стеблей, чашечку которой первая изморозь покрыла мелкими ледяными бриллиантами.

\* \* \*

Вот и железнодорожная станция. У вокзала мы вышли из коляски. Ванда с обворожительной улыбкой сбросила с плеч мне на руки шубу и потом пошла позаботиться о билетах.

Когда она вернулась, она переменилась неузнаваемо.

– Вот тебе билет, Григорий, – проговорила она таким тоном, каким говорят надменные барыни со своими лакеями.

– Третьего класса?! – воскликнул я с комическим ужасом, взглянув на билет.

– Конечно. Вот что не забудь: ты сядешь в вагон только тогда, когда я совсем устроюсь в купе и ты мне больше не будешь нужен. На каждой станции ты должен входить в мой вагон и спрашивать, не будет ли каких приказаний. Смотри же, запомни все это. А теперь подай мне шубку.

Когда я смиренно, как раб, помог ей надеть шубку, она позвала меня с собой, чтоб отыскать свободное купе первого класса, вскочила в него, опершись о мое плечо, и, усевшись, приказала мне закрыть ей ноги медвежьей шкурой и подложить грелку.

Затем она кивком головы отпустила меня.

Я медленно пошел в свой вагон третьего класса, весь пропитанный самым мерзким табачным дымом, как чистилище туманными парами Ахеронта. Потянулся долгий досуг, во время которого я мог предаваться решению загадок человеческого бытия и величайшей из этих загадок – души женщины.

Каждый раз, когда останавливается поезд, я выскакиваю, бегу в ее вагон и смиренно стою со снятой с головы фуражкой в ожидании ее приказаний. Она велит принести то чашку кофе, то стакан воды, раз потребовала легкий ужин, в другой раз – таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, – и так все время.

В купе у нее поместились по пути двое-трое пассажиров, она позволяет им ухаживать за собой, кокетничает с ними; я умираю от ревности и вынужден скакать сломя голову, чтобы быстро исполнять все приказания и своевременно приносить все, не опоздав, когда тронется поезд. Так проходит вся остальная часть дня, наступает ночь.

Я не в силах ни куска проглотить, ни глаз сомкнуть, дышу одним воздухом с польскими крестьянами, с барышниками-евреями, с грубыми солдатами, – воздух насквозь пропитан луком, – а когда вхожу к ней в купе, вижу ее закутанную в мягкие меха, на подушках дивана, укрытую шкурами, – лежит, словно деспотическая властительница Востока, а господа пассажиры сидят навтыжку, прислонившись к стене, – точно индийские идолы, – едва смея дышать.

В Вене, где она останавливается на день, чтобы сделать кой-какие покупки, и прежде всего закупить множество великолепных туалетов, она продолжает обращаться со мной как со своим слугой.

Я следую за ней на почтительном расстоянии, в десяти шагах; она протягивает мне то и дело, не удостоивая меня ни одного приветливого взгляда, пакеты, и я наконец, нагруженный как осел, вынужден пыхтеть под их тяжестью.

Перед отъездом она отбирает у меня все мои костюмы, чтобы раздать их кельнерам отеля, и приказывает мне облачиться в ее ливрею, в панталоны и куртку ее цветов – светло-голубого с красной отделкой – в четырехугольную красную шапочку, украшенную павлиньими перьями, которая очень недурно идет мне.

На серебряных пуговицах – ее герб. У меня такое чувство, словно меня продали или я прозакладывал душу дьяволу.

Мой прекрасный дьявол везет меня из Вены во Флоренцию. Вместо прежних поляков и евреев мое общество теперь составляют курчавые contadini, красавец сержант первого итальянского гренадерского полка и бедняк немецкий художник. Табачный дым пахнет теперь не луком, а сыром.

Снова наступила ночь. Я лежу на своей деревянной скамье, все мое тело ноет, руки и ноги как будто перебиты. Но поэтично это все же. В окна мерцают звезды, у сержанта лицо настоящего Аполлона Бельведерского, а немец-художник поет прелестный немецкий романс.

Я лежу и думаю о красавице, уснувшей по-царски спокойным сном в своих мягких мехах.

\* \* \*

Флоренция! Шум, крики, назойливые афчины и фиакры. Ванда подзывает один из экипажей, а носильщиков прогоняет.

– Зачем же мне был бы слуга? – говорит она. – Григорий... вот квитанция... получи багаж!

Она плотнее закутывается в свою меховую шубу и усаживается спокойно в экипаж, пока я втаскиваю один за другим тяжелые чемоданы. Под тяжестью последнего я спотыкаюсь, но стоящий поблизости карабинер с интеллигентным лицом помогает мне, поддержав его. Ванда смеется.

– Этот чемодан должен быть тяжеленек, – говорит она, – потому что в нем все мои меха.

Я вскарабкался на козлы и начал вытирать прозрачные капли со лба. Она

крикнула извозчику название гостиницы, тот погнал лошадь. Через несколько минут мы остановились перед ярко освещенным подъездом.

– Комнаты есть? – спросила она швейцара.

– Есть, сударыня.

– Две комнаты для меня, одну для моего человека – все с печами.

– Две элегантные комнаты, сударыня, обе с каминами – к вашим услугам, – сказал подбежавший номерной, – а для вашего слуги есть одна свободная без печи.

– Покажите мне их.

Осмотрев комнаты, она кратко обронила:

– Хорошо. Я беру их. Живо затопите только. Человек может спать в нетопленной комнате.

Я только взглянул на нее.

– Принеси сюда чемоданы, Григорий, – приказала она, не обращая внимания на мой взгляд. – Я пока переоденусь и сойду в столовую. Потом можешь и себе взять чего-нибудь на ужин.

Она вышла в смежную комнату, а я втащил снизу чемоданы, помог номерному затопить камин в ее спальне, пока он попробовал расспрашивать меня на скверном французском языке о моей «госпоже», и с безмолвной завистью смотрел некоторое время на пылающий огонь в камине, на душистую белую постель под пологом, на ковры, которыми устлан был пол.

Затем я спустился с лестницы, усталый и голодный, и потребовал чего-нибудь поесть. Добродушный кельнер, оказавшийся австрийским солдатом и старавшийся изо всех сил занимать меня разговором по-немецки, проводил меня в столовую и подал мне поесть. Только что я после тридцатишестичасовой голодовки сделал первый глоток и набрал вилкой кусок горячей пищи – она вошла в столовую.

Я поднялся с места.

– Как же вы меня приводите в столовую, в которой ест мой человек? – набросилась она на номерного, вся пылая гневом, и, резко повернувшись, вышла из зала.

Я все же возблагодарил небо за то, что мог по крайней мере продолжать есть. Кончив, я поднялся на пятый этаж в свою комнату, в которой уже оказался мой маленький чемодан и горела грязная лампочка. Узкая комната без печи, без окна, с маленьким отверстием для притока воздуха – дьявольский холод. Я невольно громко расхохотался – послышалось такое звонкое эхо, что я испугался звука собственного смеха.

Вдруг дверь распахнулась, и вошедший номерной воскликнул с театральным – чисто итальянским жестом:

– Подите тотчас же к вашей госпоже, приказано сию минуту!

Беру свою фуражку, сбегая вниз по лестницам, подхожу благополучно к ее двери во втором этаже и стучусь.

– Войдите.

Я вошел, закрыл за собой дверь и остановился на пороге.

Ванда комфортабельно уселась на красном бархатном диване в неглиже из белой кисеи с кружевами, ноги ее покоились на подушке такого же красного бархата, а на плечи был наброшен тот же меховой плащ, в котором она явилась в первый раз в образе богини любви.

Желтые огни свечей в подсвечниках, стоявших на трюмо, и их отражение в огромном зеркале в соединении с красным пламенем камина давали дивную игру на зеленом бархате, на темно-коричневом соболе плаща и на пламенно-рыжих волосах прекрасной женщины, обратившей ко мне свое ясное, но холодное лицо и остановившей на мне свои холодные зеленые глаза.

– Я довольна тобой, Григорий, – начала она.

Я поклонился.

– Подойди поближе.

Я повиновался.

– Еще ближе, – сказала она, опутив глаза и поглаживая соболя рукой. – Венера в мехах принимает своего раба. Я вижу, что вы все же не вполне обыкновенный фантазер; по крайней мере, вы не отступаете от своих фантазий, а способны осуществить то, что выдумали, хотя бы это было крайнее безумие. Сознаюсь, что мне это нравится, это мне импонирует. В этом есть известная сила, а уважать можно только силу.

Я думаю даже, что при исключительных обстоятельствах, в великую эпоху, то, что кажется теперь слабостью в вас, оказалось бы изумительной силой. В эпоху первых императоров вы были бы мучеником, в эпоху реформации – анабаптистом, во время Французской революции – одним из тех энтузиастов-жирондистов, которые всходили на гильотину с Марсельезой на устах. А теперь вы – мой раб, мой...

Вдруг она вскочила – так порывисто, что с плеч ее соскользнули соболя, и нежно, но с силой обвила мою шею руками.

– Мой возлюбленный раб... О, Северин, как я люблю тебя, как я боготворю тебя, как ты живописен в этом краковском костюме!.. Но ты будешь зябнуть сегодня ночью в жалкой комнате наверху без камина... Не дать ли тебе, радость моя, мой плащ меховой, вот этот, большой...

Она быстро подняла его, набросила его мне на плечи и – я оглянуться не успел, как она всего меня в него закутала.

– О, как идут тебе меха!.. Как они оттеняют твои благородные черты! Как только ты перестанешь быть рабом моим, ты будешь носить бархатную куртку с собольей опушкой, – слышишь? – иначе я никогда больше не надену свою меховую кофточку...

И снова она принялась ласкать и целовать меня и наконец увлекла меня с собой на маленький диван.

– А тебе понравилось, кажется, в мехах... отдай мне их, скорей, скорей, иначе я совсем утрачу сознание своего достоинства.

Я накинул на нее плащ, и Ванда продела правую руку в рукав.

– Совсем как на картине Тициана. Бросим, однако, шутки. Не смотри же

таким убитым, Северин, мне грустно видеть тебя таким... Пока ты ведь еще только перед светом мой слуга, пока ты еще не раб мой, – ты не подписал, еще договор и еще свободен, можешь во всякую минуту уйти от меня. Свою роль ты сыграл превосходно, я была в восторге! Но не надоело ли тебе это, не находишь ли ты меня ужасной? Да говори же... я приказываю тебе говорить!

– Ты требуешь откровенного признания, Ванда?

– Да, требую.

– Хорошо, – если ты даже злоупотребишь им, – пусть! Я влюблен в тебя больше, чем когда-либо, и буду любить тебя, боготворить тебя тем больше, тем фанатичнее, чем больше ты меня будешь мучить. Такая, какой ты была теперь в отношении меня... ты зажигаешь во мне кровь, опьяняешь меня, отуманиваешь мой ум...

Я прижал ее к груди и припал к ее влажным губам долгим, безумным поцелуем.

– Красавица моя! – вырвалось у меня затем, и, заглянув в ее глаза, я в порыве неудержимого восторга сорвал с ее плеч соболий плащ и прильнул губами к ее затылку.

– Так ты любишь меня, когда я жестока?.. – сказала Ванда. – Теперь ступай! Ты мне надоел... Что же, слышишь, ты?

Она ударила меня по щеке так, что у меня искры посыпались из глаз и в ушах зазвенело.

– Помоги мне надеть плащ, раб.

Я помог, как сумел.

– Как неуклюже! – воскликнула она и, едва надела как следует, ударила меня снова в лицо.

Я чувствовал, как я бледнею.

– Больно? Я сделала больно тебе? – спросила она мягко, дотронувшись рукой до меня.

– Нет, нет! – воскликнул я.

– Ты не имеешь права жаловаться, во всяком случае – ты ведь хочешь этого. Ну, поцелуй же меня еще...

Я схватил ее руками, ее губы впились в мои... И когда она лежала в своих широких тяжелых мехах у меня на груди, у меня было странное, щемящее, тревожное чувство – словно меня обнимал дикий зверь, медведица... и мне чудилось, что сейчас ее лапы вонзятся в мое тело.

Но на этот раз медведица милостиво отпустила меня.

Грудь моя была полна самых радостных надежд, когда я взобрался в свою жалкую людскую и бросился на свою жесткую кровать.

«Как глубоко комична жизнь, в сущности, – подумал я. – Только что на груди моей покоилась самая прекрасная женщина в мире – сама Венера, а теперь мне выпал случай познакомиться с адом, как он представляется китайцам: по их верованиям, грешники попадают не в пылающий огонь, а гонятся чертями по ледяным полям. Вероятно, основателям их религии тоже приходилось ночевать в нетопленых комнатах».

\* \* \*

Я проснулся сегодня среди ночи с криком. Мне снилось ледяное поле, на котором я заблудился и тщетно искал выхода. Вдруг откуда-то появился эскимос на саних, запряженных оленем, и лицо у него было того номерного, который отвел мне нетопленную комнату.

– Что вам здесь нужно, сударь? – воскликнул он. – Здесь северный полюс.

Через секунду он исчез, и я увидел Ванду, скользившую на маленьких коньках по поверхности льда, ее белая атласная юбка развевалась и шелестела, горностаи ее кофточки и шапочки – а еще больше лицо ее – сверкали белизной ярче снега. Она подлетела, скользя, ко мне, схватила меня в объятия, начала целовать меня... вдруг я почувствовал, как по мне горячей струей потекла моя кровь.

– Что ты делаешь? – в ужасе воскликнул я.

Она засмеялась, а когда я взгляделся получше, я увидел, что это уже не Ванда, а большая белая медведица, вонзившая когти своих лап в мое тело.

Я в ужасе вскрикнул – и все еще слышал ее дьявольский смех, когда проснулся и озирался, пораженный, вокруг.

\* \* \*

Рано утром я стал у двери помещения Ванды и, когда человек принес ей кофе, принял его у него из рук и приготовил его моей прекрасной повелительнице.

Она уже была одета, и вид у нее был дивный – свежая, розовая. Она ласково улыбнулась мне и подозвала меня, когда я хотел почтительно удалиться.

– Позавтракай и ты скорее, Григорий, – сказала она. – Мы сейчас после завтрака отправимся отыскивать квартиру. Я хочу выбраться из гостиницы как можно скорее, – здесь мы страшно стеснены. Стоит мне немножко дольше заболтаться с тобой, сейчас скажут: русская барыня в любовной связи со своим слугой – не вымирает, видно, порода Екатерины.

Через полчаса мы вышли из гостиницы, Ванда – в своем суконном платье и в русской шапочке, я – в своем краковском костюме. Мы производили сенсацию. Я шел на расстоянии шагов десяти от нее и старался сохранять мрачный вид, хотя каждую секунду боялся, что громко расхохочусь.

Почти на каждой улице на множестве красивых домов красовались дощечки с надписями: «Camere ammobiliate» – меблированные комнаты. Ванда посылала меня каждый раз осматривать, я бегал по лестницам, и только тогда, когда я ей докладывал, что квартира, кажется, соответствует ее требованиям, она сама заходила посмотреть.

К полудню я успел устать, как загнанная гончая на большой охоте.

Мы заходили из дому в дом и каждый раз уходили ни с чем, не находя подходящей квартиры. Ванда уже начинала немного раздражаться. Вдруг она сказала мне:

– Северин... серьезность, с которой ты играешь свою роль, и это насилие, которое мы делаем над собой... меня это волнует... я больше не в силах... ты так мил – я должна поцеловать тебя. Войдем куда-нибудь в дом.

– Но, сударыня...

– Григорий!

Она вошла в ближайший незапертый подъезд, взошла на несколько ступеней по темной лестнице, с страстной нежностью обвила мою шею и поцеловала меня.

– О Северин, твой расчет был тонок... В качестве раба ты гораздо опаснее, чем я думала... Ты неотразим, я боюсь, что когда-нибудь влюблюсь в тебя!

– Разве ты больше не любишь меня? – спросил я, охваченный внезапным страхом.

Она серьезно покачала головой, но снова прижалась ко мне своими дивными, упоительными губами.

Мы вернулись в гостиницу. Ванда наскоро съела холодный завтрак и приказала мне наскоро позавтракать.

Но мне служили, разумеется, не так старательно, как ей, и подавали не так быстро; таким образом, я только успел проглотить первый кусочек своего бифштекса, как вошел номерной и с тем же театральным жестом, который мне уже был знаком, воскликнул:

– Ступайте сию минуту, зовут!

Я наскоро горестно простился со своим завтраком и, усталый и голодный, поспешил к Ванде, ожидавшей меня уже на улице.

– Такой жестокой я все же не считал вас, сударыня, – не ожидал, что после всей этой утомительной беготни вы не позволите мне спокойно поесть.

Ванда от души засмеялась:

– Я думала, ты уже кончил. Ну, не беда. Человек рожден для страданий, а ты в особенности. Мученики тоже не едали бифштексов.

Я последовал за ней сердитый, упрямо-злой от голода.

– Я отказалась от мысли искать квартиру в городе, – продолжала Ванда. – Очень трудно найти целый этаж, в котором можно было бы жить уединенно и делать, что вздумается. При таких необычных, фантастических отношениях, как наши, все условия должны гармонировать. Я найму целую виллу, и... погоди, ты будешь поражен. Разрешаю тебе теперь поесть хорошенько и побродить по Флоренции, ознакомиться немножко. Раньше вечера я в гостиницу не вернусь. Когда ты мне понадобишься по моему возвращении, я велю позвать тебя.

\* \* \*

Я осмотрел собор, Palazzo vecchio, Loggia di Lanzi и долго простоял над Арно. Я не мог оторвать глаз от дивной панорамы старинной части Флоренции, круглые купола и башни которой мягко вырисовывались на голубом безоблачном небе; от великолепных мостов, сквозь широкие арки которых катили свои резвые волны желтая красавица река, от зеленых холмов,

окаймлявших город, покрытых стройными кипарисами, огромными зданиями, дворцами и монастырями.

Это особый мир, совсем иной, чем тот, в котором мы живем, – веселый, чувственный, смеющийся. И в самой природе нет и тени той серьезности и угрюмости, которыми отличается наша. Далеко-далеко, до самых отдаленных белых вилл, разбросанных по светло-зеленым горам, не видно ни одного пятнышка, которого не озаряло бы солнце самым ярким светом.

И люди не так серьезны, как мы, – быть может, они меньше мыслят, чем мы, но вид у них у всех такой, точно все они счастливы.

Утверждают даже, что южане легче умирают.

Теперь мне кажется, что возможна красота без шипов и чувственные наслаждения без муки.

\* \* \*

Ванда нашла прелестную небольшую виллу на одном из чудных холмов на левом берегу реки Арно и наняла ее на зиму. Вилла эта расположена посреди чудесного сада с чудесными густыми аллеями, зелеными полянками и множеством камелий. В ней один только этаж, и выстроена она в итальянском стиле – четырехугольником. Вдоль одного из фасадов тянется открытая галерея, уставленная гипсовыми копиями античных статуй; от этой галереи ведут каменные ступени в сад. Из галереи же другой ход ведет в ванную комнату с великолепным мраморным бассейном, откуда витая лестница ведет в спальню госпожи.

Весь этот этаж занимает Ванда одна.

Мне отведена одна комната пониже лестницы, на уровне земли; она очень хорошенькая, в ней есть даже камин.

Я прошел весь сад вдоль и поперек и на одном круглом холме нашел маленький храм, вход в который оказался закрытым. Но я заметил в двери щель, и, когда прикинул к ней глазом, я увидел на белом пьедестале богиню любви.

По моему телу прошла легкая дрожь. Мне почудилось, что она улыбнулась мне:

– Ты пришел? Я ждала тебя.

\* \* \*

Вечер. Хорошенькая маленькая горничная приходит ко мне с приказанием от госпожи – явиться к ней.

Я подымаюсь по шикарной мраморной лестнице, прохожу по приемной, по обширной, обставленной с расточительной роскошью гостиной и стучусь в дверь ее спальни.

Я стучусь очень тихо, потому что разлитая всюду роскошь стесняет меня; по-видимому, мой стук не был услышан, и я несколько времени стою за дверью. У меня такое чувство, словно я стою перед спальным покоем Екатерины Великой и она сейчас покажется оттуда в своем зеленом меховом

спальном халате с красной орденской лентой на обнаженной груди, вся в мелких белых напудренных локонах.

Стучусь еще раз. Ванда нетерпеливо распахивает дверь.

– Почему ты так долго?

– Я долго простоял за дверью, ты не слышала моего стука... – говорю я вполголоса.

Она запирает дверь, бросается мне на шею и ведет меня к оттоманке, обитой красным дам&#225;, на которой она отдыхала перед моим приходом. Вся обстановка комнаты – обои, гардины, портьеры, полог над кроватью – все из красного дам&#225;. Потолок представляет прекрасную картину – Самсона и Далилу.

Ванда принимает меня в головокружительном дезабилье, белый атлас ниспадает легкими живописными складками вдоль ее стройного тела, оставляя обнаженными руки и грудь, мягко и небрежно утопающую в темном волосе широкого зелено-бархатного собольего плаща. Рыжая масса волос, полураспущенных и подхваченных нитками черного жемчуга, ниспадает вдоль спины до самых бедер.

– Венера в мехах... – прошептал я. Она привлекла меня к себе на грудь, под ее поцелуями у меня захватывало дух. Больше я не произнес ни слова, больше я и не думал ни о чем – все закружилось и потонуло в море неизъяснимого, невероятного блаженства.

Ванда мягко отстранила меня наконец и оглянулась кругом, опираясь на локоть. Я соскользнул на ковер, к ее ногам, – она привлекла меня к себе, играя моими волосами.

– Любишь ли ты меня еще?.. – спросила она, заглянув мне в глаза отуманенными страстью глазами.

– Люблю ли! – воскликнул я.

– Ты не забыл свою клятву? – продолжала она с очаровательной улыбкой. – Ну вот, теперь, когда все устроено, все готово, я спрашиваю тебя еще раз: действительно ли ты серьезно решился сделаться моим рабом?

– Разве я теперь уже не раб твой? – удивленно спросил я.

– Ты еще не подписал документ.

– Документ?.. Какой документ?

– Ах, ты уже не помнишь, значит... Ну, тогда оставим это.

– Но, Ванда, ты ведь знаешь, что я не знаю большего блаженства, чем служить тебе, быть твоим рабом, что я отдал бы все на свете, чтобы чувствовать себя всецело в твоих руках, отдать в твои руки самую жизнь мою...

– Как ты хорош, когда говоришь так страстно... – прошептала она. – Ах, я влюблена в тебя больше, чем когда-либо... а надо быть деспотичной с тобой, и строгой, и жестокой... боюсь, я не в силах буду...

– Я этого не боюсь, – с улыбкой ответил я. – Где у тебя документ?

– Вот... – Слегка сконфуженная, она вытащила из-за корсета бумагу и протянула ее мне.

– Чтобы дать тебе полное чувство моей беспредельной власти над тобой, я приготовила еще один документ, в котором ты объявляешь свою решимость

лишить себя жизни. Я могу тогда убить тебя, если захочу.

– Дай.

Пока я разворачивал бумаги, Ванда принесла перо и чернила, потом под села ко мне, обняла рукой мою шею и смотрела через мое плечо, пока я читал.

Первый документ гласил:

**Договор между Вандой фон Дунаевой и Северином фон Кузимским.**

«От сего числа г. Северин фон Кузимский перестает считаться женихом г-жи Ванды фон Дунаевой и отказывается от всех своих прав в качестве возлюбленного; отныне он обязывается, напротив, честным словом человека и дворянина быть *рабом* ее до тех пор, пока она сама не возвратит ему свободу.

В качестве раба г-жи Дунаевой он обязывается носить имя Григория, беспрекословно исполнять всякое ее желание, повиноваться всякому ее приказанию, держаться со своей госпожой как подчиненный, смотреть на всякий знак ее благосклонности как на чрезвычайную милость.

Г-жа Дунаева не только вправе наказывать своего раба за всякое упущение и за всякий проступок по собственному усмотрению, но и мучить его по первому своему капризу или для развлечения, как только вздумается, – вправе даже убить его, если ей вздумается, – словом, он ее неограниченная собственность.

В случае, если г-жа Дунаева пожелает даровать своему рабу свободу, г. Северин фон Кузимский должен забыть все, что он испытал или претерпел, будучи рабом, и *никогда, ни при каких обстоятельствах и ни под каким видом не может помыслить о мести или возмездии.*

Г-жа Дунаева обязывается, со своей стороны, одеваться возможно чаще в меха, в особенности в тех случаях, когда будет проявлять в отношении своего раба жестокость».

Под текстом договора помечено число нынешнего дня.

Второй документ состоял всего из нескольких слов:

«Наскучив жизнью и ее разочарованиями, добровольно лишаю себя своей ненужной жизни».

Глубокий ужас охватил меня, когда я дочитал. Еще было не поздно, я мог еще отказаться, – но безумие страсти, вид прекрасной женщины, склонившейся над моим плечом, вихрем увлекли меня.

– Вот это тебе нужно будет переписать сначала, Северин, – сказала Ванда, указывая на второй документ, – он должен быть написан весь твоим почерком; в договоре это, разумеется, не нужно.

Я быстро переписал ту пару строк, в которых я объявляю себя самоубийцей, и передал бумагу Ванде. Она прочла, потом с улыбкой положила

ее на стол.

– Ну, хватит у тебя мужества подписать это? – спросила она, склонив голову, с легкой усмешкой.

Я взял перо.

– Дай, я первая подпишу, у тебя рука дрожит. Разве тебя так пугает твое счастье?

Она взяла у меня договор и перо из рук. В борьбе с самим собой я несколько секунд озирался вокруг и, подняв глаза к потолку, вдруг заметил то, что мне часто бросалось в глаза на многих картинах итальянской и голландской школы, – крайняя историческая неверность живописи на потолке, придававшая картине странный, жуткий для меня в эту минуту характер.

Далила, дама с пышными формами и огненно-рыжими волосами, лежит, полуобнаженная, в темном меховом плаще на красной оттоманке и, улыбаясь, нагибается к Самсону, которого филистимляне бросили наземь и связали. В кокетливой насмешливости ее улыбки дышит истинно адская жестокость, полузакрытые глаза ее скрещиваются с глазами Самсона, прикованными к ней и в последнее мгновение взглядом безумной любви, – а враг уже упирается коленом в его грудь, готовый вонзить в него раскаленное железо.

– Вот и готово! – воскликнула Ванда. – Но что с тобой? Отчего ты так растерян? Ведь все остается по-прежнему, даже когда ты и подпишешь. Неужели ты до сих пор еще меня не знаешь, радость моя?

Я взглянул на договор. Крупным смелым почерком красовалось под ним ее имя. Еще раз взглянул я в ее обворожительные глаза, потом взял перо и быстро подписал договор.

– Ты дрогнул, – спокойно сказала Ванда. – Хочешь, я буду водить твоим пером?

И в ту же секунду она мягко схватила меня за руку – через мгновение моя подпись была выведена и под второй бумагой.

Ванда еще раз осмотрела оба документа, потом заперла их в ящик стола, стоявшего в изголовье оттоманки.

– Вот так, теперь отдай мне еще свой паспорт и свои деньги.

Я вынимаю свой бумажник и протягиваю ей. Она заглянула в него, кивнула головой и положила его в тот же ящик стола, куда и прежние бумаги, а я опустился перед ней на колени и в сладком упоении склонился головой к ней на грудь.

Вдруг она оттолкнула меня ногой от себя, вскочила, потянувшись рукой к колокольчику, и на звонок ее вбежали в комнату три молодые, стройные негритянки, словно выточенные из эбенового дерева и одетые во все красное, в атлас; у каждой было в руке по веревке.

Тут только я вмиг понял свое положение. Я хотел встать, но Ванда, выпрямившись во весь рост и обратив ко мне свое холодное прекрасное лицо со сдвинутыми бровями, с выражением злой насмешки в глазах, повелительно глядя на меня взглядом властительницы, сделала знак рукой, – и раньше, чем я успел сообразить, что со мной делается, негритянки опрокинули меня на пол, крепко связали меня по ногам и рукам и кисти рук прикрутили связанными на

спину, словно приговоренному к казни, так что я едва мог пошевелиться.

– Подай мне хлыст, Гайдэ, – зловеще-спокойно сказала Ванда.

Негритянка подала его повелительнице, склонив колени.

– Иними с меня тяжелый плащ, – он мне мешает.

Негритянка повиновалась.

– Кофточку... вон там! – снова приказала Ванда.

Гайдэ быстро подала кацавейку с горностаевой опушкой, лежавшую на кровати, и Ванда чарующим, неподражаемым движением быстро скользнула руками в рукава.

– Привяжите его к этой колонне.

Негритянки подняли меня, набросили мне толстую веревку вокруг талии и привязали меня в стоячем положении к одной из массивных колонн, поддерживавших полог широкой итальянской кровати.

Затем они вдруг исчезли, словно провалились сквозь землю.

Ванда быстро подошла ко мне. Белое атласное платье расстиралось длинным шлейфом, как потоки жидкого серебра, как лунный свет. Волосы пылали, сверкали огнем на фоне белой меховой опушки. Подбоченясь левой рукой, держа в правой хлыст, она остановилась с коротким отрывистым смехом.

– Теперь игра кончена, – сказала она тоном холодного бессердечия, – теперь это не очень серьезно – слышишь? Глупец, отдавший *мне* – высокомерной, своенравной женщине – как игрушка, в безумном ослеплении! Я смеюсь над тобой, презираю тебя! Ты больше не возлюбленный мой – *мой раб*, отданный мне на произвол, чья жизнь и смерть в моих руках. О, ты узнаешь меня!

Прежде всего ты у меня серьезно отведаешь сейчас хлыста, без всякой вины своей, – для того, чтоб ты понял, что ждет тебя, если ты окажешься неловок, непослушен или непокорен.

И, с дикой грацией засучив опушенные мехом рукава, она хлестнула меня по спине.

Я вздрогнул всем телом, хлыст врезался мне в тело, как нож.

– Нравится тебе это?

Я молчал.

– О, погоди, – ты еще завизжишь у меня, как собака под кнутом! – И вслед за угрозой посыпались удары.

Удары сыпались мне на спину, на руки, на затылок, быстрые, частые и со страшной силой... я стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Вот она хлестнула меня по лицу, горячая кровь заструилась у меня по щекам – но она смеялась и продолжала наносить удары.

– Только теперь я понимаю тебя, – говорила она в промежутках между ударами. – Какое наслаждение иметь такую власть над человеком, и вдобавок над человеком, который любит... ведь ты меня любишь?.. О, погоди! – я еще терзать тебя буду... с каждым ударом будет расти мое наслаждение! Ну, извивайся же, кричи, визжи! Не будет тебе от меня пощады!..

Наконец она, по-видимому, устала.

Она швырнула хлыст, растянулась на оттоманке и позвонила.

Вошли негритянки.

– Развяжите его.

Едва была развязана веревка, я грохнулся, как бревно, на пол. Черные женщины засмеялись, обнажив свои белые зубы.

– Развяжите ему веревки на ногах.

Это было сделано. Я мог подняться.

– Поди сюда, Григорий.

Я подхожу к прекрасной женщине, еще никогда не казавшейся мне такой соблазнительной, как теперь, в припадке жестокости, в глумлении.

– Еще на шаг ближе, – приказала она. – На колени и целуй ногу!

Она протягивает ногу из-под белого атласного подола, и я, сверхчувственный безумец, припадаю к ней губами.

– Теперь ты целый месяц не увидишь меня, Григорий, – говорит она серьезно, – ты отчуждишься от меня за это время и таким образом легче освоишься со своим новым положением у меня. В течение этого времени ты будешь работать в саду и ожидать моих приказаний. А теперь – ступай, раб!

\* \* \*

Месяц прошел с однообразной правильностью в тяжелом труде, в тоскливом томлении – в томлении по той, которая причинила мне все эти страдания. Я прикомандирован к садовнику, помогаю ему ставить подпорки к деревьям, к плетням, пересаживать цветы, окапывать клумбы, подметать дорожки, посыпанные гравием. Я делю его грубый стол и его жесткое ложе, встаю с курами и ложусь спать с петухами.

Время от времени до меня доходит слух, что наша госпожа веселится, что она окружена поклонниками, а раз я услышал даже сам ее веселый смех, донесшийся до сада.

Я кажусь себе совершенно глупым. Отупел ли я от этой жизни или я и раньше был глуп?

Месяц подходит к концу – послезавтра кончается срок. Что-то она теперь сделает со мной? Или она совсем обо мне забыла и я буду до праведной кончины своей подпиравать деревья и вязать букеты?

Письменное приказание:

«Рабу Григорию сим повелеваю явиться служить мне лично.  
*Ванда Дунаева*».

\* \* \*

С сильно бьющимся сердцем раздвигаю я утром следующего дня портьеры из дам&#225; и вхожу в спальню моей богини, еще утопающую в прелестном полусвете.

– Это ты, Григорий? – спросила она, когда я, стоя на коленях, растапливал камин.

Я весь затрепетал при звуке любимого голоса. Ее самой мне не видно, она почивает, недоступная, за опущенным пологом кровати.

– Так точно, сударыня.

– Который час?

– Девять пробило.

– Завтрак.

Я бегу за ним и, принеся поднос с кофе, опускаюсь с ним на колени у ее постели, за пологом.

– Вот завтрак, госпожа.

Ванда раздвигает полог, и – странно! – в первое мгновение, когда я ее увидел с распущенными волнами волос на белых подушках, она показалась мне прекрасной, но совершенно чужой; дивные, но незнакомые, любимые черты, это лицо жестко и дышит чуждым выражением усталости, пресыщения.

Неужели это было и раньше и я только не замечал этого?

Она обращает свои зеленые глаза на меня – больше с любопытством, чем с угрозой или с состраданием, – и натягивает на обнаженные плечи темный меховой ночной халат, в котором она почивает.

В это мгновение она так волшебным, так головокружительно прекрасна, что я чувствую, как кровь ударила мне в голову, прихлынула к сердцу, и поднос задрожал в моей руке. Она это заметила и взялась за хлыст, лежавший на ее ночном столике.

– Ты неловок, раб, – говорит она, нахмутив брови.

Я опускаю глаза и держу поднос, как только могу, крепко, а она пьет свой кофе, зевает и потягивается своим дивным телом в великолепных мехах.

\* \* \*

Она позвонила. Я вошел.

– Это письмо князю Корсини.

Я помчался в город, передал письмо князю, красивому молодому человеку с жгучими черными глазами и, весь истерзанный ревностью, принес ей ответ.

– Что с тобой? – спрашивает она, вглядываясь в меня. – Ты страшно бледен.

– Ничего, госпожа, – немножко запыхался от быстрой ходьбы.

\* \* \*

За завтраком князь сидит рядом с ней, и я должен прислуживать им обоим, а они шутят, и я совершенно не существую ни для нее, ни для него. На мгновение у меня потемнело в глазах, и я пролил на скатерть и на ее платье бордо, которое в ту минуту наливал ему в рюмку.

– Ты неуклюж! – воскликнула Ванда и дала мне пощечину.

Князь засмеялся, засмеялась и она, а мне кровь ударила в лицо.

\* \* \*

После завтрака она едет кататься в маленькой коляске, запряженной английской лошастью, и сама правит. Я сижу позади нее и вижу, как она кокетничает и кланяется, улыбаясь, когда кто-нибудь из знатных господ здоровается с нею.

Когда я помогаю ей выйти из коляски, она слегка опирается на мою руку – прикосновение пронизывает меня электрическим током. Ах, она все же дивная женщина, и я люблю ее больше, чем когда-либо.

\* \* \*

К обеду, к шести часам вечера, явились несколько дам и мужчин. Я служу за столом и на этот раз не проливаю вино на скатерть.

Одна пощечина стоит ведь больше десятка лекций – она так быстро воспитывает, в особенности когда ее наносит маленькая, полная женская рука, поучающая нас.

\* \* \*

После обеда она едет в театр Pergola. Спускаясь с лестницы в своем черном бархатном платье с широким горностаевым воротником, с диадемой из белых роз в волосах, – она ослепительно прекрасна. Я откидываю подножку, помогаю ей сесть в карету. У подъезда театра я соскакиваю с козел; выходя из кареты, она опирается на мою руку, затрепетавшую под сладостной ношей. Я открываю ей дверь ложи и затем жду ее в коридоре.

Четыре часа длится спектакль, все это время она принимает в ложе своих поклонников, а я стискиваю зубы от бешенства.

\* \* \*

Далеко за полночь раздается в последний раз звонок моей повелительницы.

– Огня! – коротко приказывает она и так же коротко: – Чаю! – когда огонь в камине затрещал.

Когда я вошел с кипящим самоваром, она уже успела раздеться и накидывала с помощью негритянки свое белое неглиже.

После этого Гайдэ удалилась.

– Поддай ночной меховой халат, – говорит Ванда, потягиваясь с сонной грацией всем своим дивным телом.

Я беру с кресла халат и держу его, пока она лениво просовывает руки в рукава.

Затем она бросается на подушки оттоманки.

– Сними мне ботинки и надень мне бархатные туфли.

Я становлюсь на колени и стягиваю маленький ботинок, который не сразу снимается.

– Живо, живо! – восклицает Ванда. – Ты мне больно делаешь! Погоди-ка, я с тобой расправлюсь!

Хлестнула меня хлыстом... Сняты наконец ботинки!

– А теперь ступай!..

Еще один пинок ногой – и я отпущен на покой.

\* \* \*

Сегодня я проводил ее на вечер. В передней она приказала мне снять с нее шубку, потом вошла в ярко освещенный зал с горделивой улыбкой, уверенная в своей победе, предоставив мне снова предаваться в течение целых часов своим унылым однообразным думам.

Время от времени, когда дверь открывалась на минуту, до меня доносились звуки музыки. Два-три лакея попытались было вступить со мной в разговор, но, так как я знаю только несколько слов по-итальянски, оставили меня вскоре в покое.

Наконец я засыпаю и вижу во сне, что убил Ванду в припадке безумной ревности и что меня приговорили к смертной казни; я вижу, как меня прикрепили к эшафоту, опускается топор... я уже чувствую его удар по затылку, но я еще жив...

Вдруг палач ударяет меня по лицу...

Нет, это не палач – это Ванда. Гневная, стоит она предо мной, ожидая шубки.

Вмиг я прихожу в себя, подаю шубку и помогаю надеть ее.

Какое огромное наслаждение – закутывать в шубку красивую, роскошную женщину, видеть, чувствовать, как погружаются в нее дивные члены, прелестный затылок, как прилегает к ним драгоценный шелковистый мех, приподымать волнистые локоны и расправлять их по воротнику, а потом, когда она сбрасывает шубку, чувствовать восхитительную теплоту и легкий запах ее тела, которыми дышат золотистые волоски соболя... От этого голову потерять можно!

Наконец-то выдался день без гостей, без театра, без выездов. Я вздыхаю с облегчением. Ванда сидит в галерее и читает. Поручений для меня, по-видимому, не будет. С наступлением сумерек, когда спускается серебристая вечерняя полумгла, она уходит к себе.

Я служу за обедом, она обедает одна, но – ни одного взгляда, ни одного звука для меня, ни даже... пощечины.

О, как я страстно томлюсь по удару от ее руки!

Меня душат слезы. Я чувствую, как глубоко она унизила меня, – так глубоко, что теперь у нее уже даже нет желания мучить меня, унижать, оскорблять меня.

Прежде чем она ложится спать, ее звонок призывал меня.

– Сегодня ты будешь ночевать здесь, в комнате. В прошлую ночь я видела

ужасные сны, сегодня я боюсь остаться одна. Возьми себе подушку с оттоманки и ложись на медвежьей шкуре у моих ног.

Проговорив это, Ванда тушит свечи, так что комната остается освещенной только маленьким фонариком с потолка.

– Не шевелись, не то разбудишь меня.

Я сделал все, что она приказала, но долго не мог уснуть. Я видел красавицу – прекрасную, как богиня! – закутанную в темный мех ночного халата, лежавшую на спине, с запрокинутыми за голову руками, утопающими в массе рыжих волос. Я слышал, как вздымалась ее дивная грудь от глубокого ритмического дыхания, – и каждый раз, едва она пошелохнется, я неслышно вскакивал, прислушиваясь, выжидая, не буду ли я нужен ей.

Но я ей не был нужен.

Вся моя роль, все мое значение для нее сводились к тому, чтобы служить ей свечою в потьмах или револьвером, который кладут под подушку для безопасности.

\* \* \*

Что это? Не помешался ли я – или это она помешалась? Что это – легкомысленный каприз изобретательного женского ума или эта женщина действительно одна из тех нероновских натур, которые находят дьявольское наслаждение в том, чтобы бросить, как червя, себе под ноги человека, мыслящего, чувствующего и обладающего волей так же, как и они сами?..

Что я пережил!

Когда я склонился на колени перед ее постелью с подносом кофе в руках, Ванда вдруг положила руку мне на плечо и глубоко-глубоко заглянула мне в глаза.

– Какие у тебя дивные глаза! – тихо сказала она. – Как они еще похорошели с тех пор, как ты страдаешь! Ты очень несчастлив?

Я опустил голову и продолжал молчать.

– Северин! Любишь ли ты меня еще?! – страстно воскликнула она вдруг. – Можешь ли ты еще любить меня? – И она привлекла меня к себе с такой силой, что поднос опрокинулся, чашки и все остальное попадали на пол, кофе потек по ковру.

– Ванда моя... Ванда!.. – крикнул я, как безумный, стиснул ее в объятьях и осыпал поцелуями ее губы, лицо и грудь. – В этом-то и горе мое, что я люблю тебя все больше, все безумнее, чем больше ты меня мучишь, чем чаще ты мне изменяешь! О, я умру от муки, от любви и ревности!..

– Но я еще совсем тебе не изменила, Северин, – улыбаясь, возразила Ванда.

– Не изменила? Ванда! Ради бога... не шути со мной так бессердечно! Ведь я же сам носил письмо к князю...

– Ну, да, – с приглашением на завтрак.

– С тех пор как мы во Флоренции, ты...

– ...сохранила безусловную верность тебе, – закончила Ванда. – Клянусь

тебе в этом всем, что для меня свято! Я делала все только для того, чтоб исполнить твою фантазию, – только для тебя!

Но поклонником я все же обзаведусь, иначе дело не будет доведено до конца и ты, в конце концов, будешь упрекать меня в том, что я недостаточно жестока к тебе. Дорогой мой, прекрасный мой раб! Но сегодня ты должен быть снова Северином, быть только моим возлюбленным!

Я не раздала твоих платьев, они все там, в сундуке, вынь их, оденься во все то, что ты носил там, в маленьком карпатском курорте, где мы так искренно любили друг друга. Забудь все, что произошло с тех пор... о, ты легко забудешь все в моих объятьях, я прогоню поцелуями всю твою печаль...

И она нежно поглаживала меня, как ребенка, целовала, ласкала... потом сказала с прелестной улыбкой:

– Оденься же. Я тоже буду одеваться. Надеть мне меховую кофточку, хочешь? Что да, я знаю сама... Иди же!

Когда я вернулся, она стояла посреди комнаты в своем белом атласном платье, в красной, опушенной горностаем кацавейке, с напудренными волосами и маленькой бриллиантовой диадемой над лбом.

В первое мгновение она напомнила мне Екатерину II, и мне стало не по себе, но она не дала мне времени задуматься – она привлекла меня к себе на оттоманку, и мы провели два блаженных часа. Теперь это была не строгая, своенравная повелительница, а только изящная дама, нежная возлюбленная.

Она показывала мне фотографии, вышедшие за последнее время книги и говорила со мной о них так умно, так интересно, так восхищала меня своим вкусом, что я не раз в восторге подносил к губам ее руку. Затем она прочла мне несколько стихотворений Лермонтова, и когда у меня совсем закружилась голова, она с нежной лаской положила свою ручку на мою руку – во всем лице ее, добром и ласковом, в кротком выражении глаз светилось тихое удовольствие – и спросила:

– Счастлив ты?

– Нет еще...

Она откинулась на подушки оттоманки и начала медленно расстегивать кацавейку.

Но я быстро снова прикрыл горностаем ее полуобнаженную грудь.

– Ты меня с ума сводишь... – пробормотал я, запинаясь.

– Поди же ко мне.

Я лежал уже в ее объятьях, она целовала меня, как змея... Вдруг она еще раз прошептала:

– Счастлив ты?

– Бесконечно! – воскликнул я.

Она засмеялась. Это был резкий, злой смех, от которого меня дрожь пронизала.

– Прежде ты мечтал быть рабом, игрушкой красивой женщины, теперь ты воображаешь себя свободным человеком, мужчиной, моим возлюбленным... Глупец! Мне стоит бровью повести – и ты снова мой раб. На колени!

Я сполз с оттоманки к ее ногам, – глаза мои, еще с сомнением, впились в ее

глаза.

– Ты не можешь этого понять, – сказала она, глядя на меня со скрещенными на груди руками. – Я томлюсь от скуки, а ты так добр, что соглашаешься доставлять мне несколько часов развлечения. Не смотри на меня так...

Она толкнула меня ногой.

– Ты можешь быть всем, чем я захочу, – человеком, вещью, животным...

Она позвонила. Вошли негритянки.

– Свяжите ему руки за спиной.

Я остался на коленях и не сопротивился. Затем они повели меня со связанными руками через весь сад до маленького виноградника, примыкавшего к нему с юга. Между рядами лоз виднелся маис, там и сям торчали еще редкие засохшие прутья. В стороне стоял плуг.

Негритянки привязали меня к шесту и забавлялись тем, что кололи меня своими золотыми булавками, вынутыми из волос. Прошло, однако, немного времени, – пришла Ванда в горностаевой шапочке на голове, заложив руки в карманы кофточки; она велела развязать меня, прикрутить мне руки за спину, надеть мне на шею ярмо и запрячь меня в плуг.

Затем ее черные ведьмы погнали меня на поле – одна из них вела плуг, другая правила мной с помощью веревки, третья погоняла меня хлыстом... Венера в мехах стояла в стороне и смотрела.

\* \* \*

Когда я на другой день подавал ей обед, она сказала:

– Принеси еще прибор, я хочу, чтобы ты сегодня обедал со мной.

Когда я хотел сесть против нее, она сказала:

– Нет, садись поближе ко мне – совсем близко.

Она в наилучшем настроении дает мне суп из своей тарелки, своей ложкой, кормит меня своей вилкой, ложится головкой, как шаловливый котенок, на стол и кокетничает со мной.

По несчастной случайности я засмотрелся на Гайдэ, подававшую мне блюда, дольше, чем это, быть может, нужно было: как-то вдруг в эту минуту я в первый раз обратил внимание на ее благородный, почти европейский склад лица, на прекрасный бюст, как у статуи, изваянной из черного мрамора.

Хорошенький чертенок замечает, что нравится мне, поблескивает, улыбаясь, белыми зубами. Едва она вышла из комнаты, Ванда вскочила, вся пылая гневом:

– Что! Ты смеешь смотреть при мне так на другую женщину! Она нравится тебе, очевидно, больше, чем я, – она еще демоничнее...

Я испугался – такой я еще никогда ее не видел! Она вмиг побледнела вся, так что даже губы побелели, и дрожала всем телом – Венера в мехах ревнует своего раба.

Она сорвала с гвоздя хлыст и ударила меня им по лицу, потом позвала своих черных прислужниц, приказала им связать меня и потащить в погреб, где

они бросили меня в темную, сырую подземную комнату – настоящую темницу.  
Затем дверь захлопнулась, был задвинут засов, щелкнул запор.  
Я заточен, погребен.

\* \* \*

И вот я лежу – не знаю, сколько времени, – связанный, словно теленок, которого ведут на убой, на охапке влажной соломы. – без света, без пищи, без сна. Она способна оставить меня умереть голодной смертью – и оставит, если я еще раньше не замерзну. Меня всего трясет от холода. Или, быть может, это лихорадочный озноб? Мне кажется, я начинаю ненавидеть эту женщину.

\* \* \*

Красная полоса, как кровь, протянулась на полу. Это свет свечи сквозь дверную щель. Вот и дверь отворилась.

На пороге показывается Ванда, закутанная в свои собольи меха, и освещает факелом мое подземелье.

– Ты еще жив? – спрашивает она.

– Ты пришла убить меня? – отвечаю я слабым, хриплым голосом.

Ванда стремительно делает два шага, подходит ко мне, опускается перед моим ложем на колени и кладет на колени мою голову.

– Ты болен?.. Как горят твои глаза... Любишь ли ты меня?.. Я хочу, чтобы ты любил меня!..

Она вытаскивает короткий кинжал, клинок блестит перед моими глазами, – я содрогаюсь, думая, что она действительно хочет убить меня. Но она смеется и разрезает веревки, которыми я связан.

\* \* \*

Теперь она велит мне приходиться к ней каждый вечер после обеда, заставляет меня читать ей вслух, говорит со мной о всевозможных увлекательных вещах и вопросах. И она совсем переменилась – держится так, как будто стыдится дикости, которую обнаружила, грубости, с которой обращалась со мной.

Трогательной кротостью просветлело все ее существо, и, когда она на прощанье протягивает мне руку, глаза ее светятся той небесной добротой и любовью, которая исторгает у нас слезы из глаз, заставляет нас забыть все горести жизни и весь ужас смерти.

\* \* \*

Я читаю ей о Манон Леско. Она чувствует, почему я это выбрал, – не говорит ни слова, правда, но время от времени улыбается и наконец захлопывает книжку.

– Вы не хотите больше читать, сударыня?

– Сегодня – нет. Сегодня мы сами разыграем Манон Леско. У меня назначено свидание на гулянье, и вы, мой милый рыцарь, проводите меня туда. Я знаю, вы это сделаете, не правда ли?

– Если прикажете...

– Я не приказываю, я прошу вас об этом, – говорит она с неотразимой очаровательностью, затем встает и, положив мне на плечи руки, смотрит на меня.

– Какие у тебя глаза! Я так люблю тебя, Северин... ты не знаешь, как люблю...

– Да, – говорю я с горечью, – так сильно, что назначаете свидание другому...

– Это я делаю только для того, чтобы привлечь тебя! – с живостью сказала она. – Я должна иметь поклонников, чтобы не потерять тебя... Я не хочу потерять тебя, – слышишь? – потому что люблю только тебя, одного тебя!

Она страстно прильнула к моим губам.

– О, если бы я могла, как хотела бы, отдать тебе всю мою душу в поцелуе... Вот... Ну, пойдем.

Она накинула простое черное бархатное пальто и надела на голову темный башлык.

– Григорий повезет меня, – говорит она кучеру, пройдя быстро галерею и садясь в коляску.

Кучер недружелюбно отошел. Я сел на козлы и со злостью хлестнул лошадей.

\* \* \*

На гулянье в парке, в том месте, где главная аллея превращается в ветвистую чащу, Ванда вышла из коляски. Наступила уже ночь, только редкие звезды мерцали сквозь серые тучи, заволакивавшие небо. На берегу Арно стояла мужская фигура в темном платье и широкополой шляпе, заглядевшись на желтые волны реки.

Ванда быстро отошла в сторону через кустарники и, подойдя к нему, хлопнула его по плечу. Мне видно было, как он обернулся, схватил ее руку... Затем они исчезли за зеленой стеной.

Мучительный час. Наконец послышался шепот из чащи; они вернулись.

Господин проводил ее до коляски. Свет фонаря коляски ярко и резко осветил крайне юное, нежное и мечтательное лицо – совершенно мне незнакомое – и блеснул на длинных белокурых волосах.

Она протянула ему руку, он ее почтительно поцеловал; потом она подала мне знак, и коляска вмиг покатила в сторону вдоль длинной аллеи, высившейся стеной, словно обитой зелеными обоями над рекой.

\* \* \*

У садовой калитки позвонили. Знакомое лицо. Тот самый юноша.

– Как прикажете доложить? – спрашиваю я по-французски.

Посетитель сконфуженно качает отрицательно головой.

– Быть может, вы немножко понимаете по-немецки? – спрашивает он робко.

– Понимаю. Я осведомился о вашем имени.

– Ах, имени у меня еще нет, к сожалению, – отвечает он смущенно. – Скажите только вашей госпоже, что пришел немецкий художник из парка и просит... впрочем, вот она сама.

Ванда вышла на балкон и кивнула головой незнакомцу.

– Григорий, проводи господина ко мне, – крикнула она.

Я проводил художника до лестницы.

– Благодарю вас, я сам пройду теперь, – очень вам благодарен.

И он побежал наверх. Я остался внизу и с глубоким состраданием смотрел вслед бедному немцу.

Венера в мехах запутала его душу в рыжих сетях своих волос. Он будет писать с нее, и это сведет его с ума.

\* \* \*

Солнечный зимний день, золотом играют на солнце трепетные листья деревьев, зеленая площадь луга. У подножья галереи в пышном уборе бутонов красуются камелии. Ванда сидит в ней и рисует, а немецкий художник стоит перед ней, сложив руки, как на молитве, и смотрит на нее... нет, всматривается в ее лицо и весь поглощен лицезрением, как в забытии.

Но она этого не замечает. Она не замечает и меня, не видит, как я окапываю заступом цветочные клумбы только для того, чтобы видеть ее, чтобы чувствовать ее близость, действующую на меня, как музыка, как стихи.

\* \* \*

Художник ушел. Это рискованная смелость, но я дерзаю. Я подхожу к галерее, совсем близко к Ванде и спрашиваю ее:

– Любишь ли ты художника, госпожа?

Она смотрит на меня без гнева, качает отрицательно головой, потом даже улыбается.

– Мне жаль его, – отвечает она, – но я не люблю его. Я никого не люблю. Тебя я любила... так искренно, так страстно, так глубоко, как только способна была любить. Но теперь я и тебя больше не люблю, – мое сердце опустело, умерло, – и это мне так грустно...

– Ванда! – воскликнул я, болезненно задетый.

– Скоро и ты разлюбишь меня, – продолжала она. – Скажи мне это, когда это случится, тогда я возвращу тебе свободу.

– В таком случае я всю жизнь останусь твоим рабом, потому что я боготворю тебя и буду боготворить тебя всю жизнь! – воскликнул я в порыве

фанатической любви.

Сколько раз губили меня такие порывы!

Ванда смотрела на меня с большим удовольствием.

– Подумай хорошенько, – сказала она. – Я беспредельно любила тебя и обращалась с тобой деспотически. Я хотела исполнить твою фантазию. Теперь еще трепещет во мне остаток того дивного чувства, в груди моей еще живет искреннее участие к тебе. Если исчезнет и оно, кто знает, освобожу ли я тебя тогда, не стану ли я тогда действительно жестокой, немилосердной, даже грубой?.. Не будет ли мне доставлять сатанинскую радость, когда я буду совсем равнодушна или буду любить другого, мучить, пытать человека, который меня идолопоклоннически боготворит, видеть его умирающим от любви ко мне? Обдумай хорошенько!

– Я все давно обдумал, – ответил я, весь горя, как в лихорадочном жару. – Я не могу жить, существовать не могу без тебя. Я умру, если ты вернешь мне свободу. Позволь мне быть твоим рабом, убей меня, – только не отталкивай меня.

– Ну так будь же моим рабом! Не забывай, однако, что я уже не люблю тебя и что любовь твоя имеет теперь для меня не б&#243;льшую ценность, чем преданность собаки, а собак топчут ногами.

\* \* \*

Сегодня я ходил смотреть на Венеру Медицейскую.

Было еще рано, маленький восьмиугольный зал музея Tribuna утопал в сумеречном освещении, словно храм в полутьме, и я стоял, сложив руки в глубоком благоговении перед немым образом богини.

Но я стоял недолго.

В галерее еще не было ни души, не было даже ни одного англичанина, и я стоял коленапреклоненный и смотрел на дивное стройное тело, на юную цветущую грудь, на девственно сладострастное лицо с полузакрытыми глазами, на душистые локоны, как будто скрывающие с обеих сторон маленькие рога.

\* \* \*

Звонок повелительницы.

Уже полдень. Но она еще в постели – лежит скрестив руки на затылке.

– Я буду купаться, – говорит она, – и ты будешь служить мне. Запри двери.

Я повиновался.

– Теперь поди вниз и посмотри, чтобы и внизу все было заперто.

Я спустился с витой лестницы, которая вела из ее спальни в ванную; ноги у меня подкашивались, я вынужден был держаться за перила.

Убедившись, что двери, ведущие в галерею и в сад, заперты, я вернулся. Ванда сидела на кровати с распущенными волосами в своем зеленом бархатном меховом плаще. Она сделала быстрое движение, и я заметил, что на ней ничего больше не было, кроме плаща. Я испугался, сам не знаю почему, так ужасно,

как приговоренный к смерти, который знал, что идет на эшафот, но при виде его начинает дрожать.

– Поди сюда, Григорий, возьми меня на руки.

– Как, госпожа?

– Ну, понесешь меня! Чего ты тут не понимаешь?

Я поднял ее так, что она сидела у меня на руках, а своими руками обвила мою шею, и, спускаясь с ней так с лестницы, медленно со ступеньки на ступеньку, чувствуя время от времени ее волосы на своей щеке и прикосновение ее ноги к моему колену, я дрожал под своей дивной ношей и каждую минуту чувствовал, что готов упасть под ней.

Ванная комната представляет обширную, высокую ротонду, освещенную мягким, спокойным светом, падающим сверху через красный стеклянный купол. Две пальмы простирают свои широкие листья, словно зеленую кровлю, над кушеткой для отдыха с подушками красного бархата; под ней ступеньки, устланные турецкими коврами, ведущие в обширный мраморный бассейн, занимающий середину комнаты.

– Наверху на моем ночном столике лежит зеленая лента, – сказала Ванда, когда я опускал ее на кушетку. – Принеси ее мне. Принеси и хлыст также.

Я вбежал вверх по лестнице и тотчас же вернулся, принес я то и другое. Опустившись на колени, я передал повелительнице ленту и хлыст, затем по ее приказанию собрал в большой узел и прикрепил зеленой бархатной лентой тяжелую электрическую массу ее волос.

Затем я начал готовить ванну-бассейн и делал это порядочно неловко, так как руки и ноги отказывались служить мне каждый раз, когда я взглядывал на прекрасную женщину, лежавшую на красных бархатных подушках, и глаза мои останавливались на дивном теле ее, просвечивавшем местами из-под темного меха, – я делал это помимо воли, меня влекла магнетическая сила, – я чувствовал, что будить чувственность и сладострастие способна только полуобнаженная красота, пикантная полураскрытая нагота. Еще живее я это почувствовал, когда бассейн наконец наполнился и Ванда, одним движением сбросив с себя меховой плащ, предстала передо мной вся, как богиня в музее Tribuna.

В этот миг она показалась мне в своей прекрасной наготе такой целомудренной, такой священной, что я бросился перед ней, как тогда перед богиней, на колени и благоговейно припал к ее ноге.

Кровь, kloкoтaвшaя вo мнe тoлькo чтo буйными волнами, вмиг улеглась, потекла ровно, спокойно, и в эту минуту не было для меня в Ванде ничего жестокого.

Она медленно спускалась по ступенькам к бассейну, и я мог рассматривать ее всю с чувством тихой радости, к которой не примешивалось ни атома муки, томления или страсти, – смотреть, как она то погружалась, то выныривала из кристально прозрачных струй и как волны, которые она сама производила, любовно плескались, ласкаясь, льнули к ней.

Прав наш эстетик-нигилист: живое яблоко все же прекраснее нарисованного и живая женщина – обаятельнее каменной Венеры.

И когда она вышла затем из ванны и по телу ее, облитому розовым светом, заструились серебристые капли, меня объял немой восторг. Я накинул простыню, осушал дивное тело – и меня не покидал этот восторг, и то же спокойное блаженство не покидало меня и тогда, когда она отдыхала, улегшись на подушки в своем широком бархатном плаще, и эластичный соболий мех жадно прильнул к ее холодному мраморному телу; нога ее опиралась на меня, как на подножную скамейку; левая рука, на которую она облокачивалась, покоилась, словно спящий лебедь, среди темного меха рукава, а правая небрежно играла хлыстом.

Случайно взгляд мой скользнул по массивному зеркалу, вделанному в противоположную стену, и я невольно вскрикнул, увидев в золотой раме, как на картине, ее и себя, – и картина эта была так дивно прекрасна, так изумительно фантастична, что меня охватила глубокая грусть при мысли о том, что ее линии и краски не закреплены и должны будут рассеяться, как туман.

– Что с тобой? – спросила Ванда.

Я указал рукой на зеркало.

– Ах, это в самом деле дивно! – воскликнула и она. – Жаль, что невозможно закрепить это мгновенье.

– Почему же невозможно? Разве не будет гордиться всякий художник, хотя бы и самый знаменитый, если ты ему позволишь увековечить тебя своей кистью?

Мысль о том, что эта необычайная красота, – продолжал я, восторженно рассматривая ее, – эта очаровательная головка, эти изумительные глаза с их зеленым огнем, эти демонические волосы, это великолепное тело должны погибнуть для света, – эта мысль для меня ужасна, она наполняет мне душу ужасом смерти, разрушения, уничтожения.

Тебя рука художника должна вырвать из ее власти, ты не должна, как другие, погибнуть совсем и навеки, не оставив следа своего существования; твой образ должен жить и тогда, когда сама ты давно уже превратишься в прах, твоя красота должна восторжествовать над смертью!

Ванда улыбнулась.

– Жаль, что в современной Италии нет Тициана или Рафаэля, – сказала она. – Впрочем, быть может, любовь может заменить гений... Кто знает, не могли бы наш юный немец?..

Она призадумалась:

– Да, пусть он напишет меня... А я уж позабочусь о том, чтоб Амур мешал ему краски.

\* \* \*

Молодой художник устроил свою мастерскую в вилле. Она совершенно заполонила его.

И вот он начал писать мадонну – мадонну с рыжими волосами и зелеными глазами! Создать из этой породистой женщины образ девственности – на это способен только идеализм немца.

Бедняга сделался в самом деле еще большим ослом, чем я. Все несчастье в том только, что наша Титания *слишком скоро* разглядела наши ослиные уши.

И вот она смеется над нами... И как смеется! Я слышу ее веселый, мелодичный смех, звучащий в его мастерской, под окном которой я стою и ревниво прислушиваюсь.

– В уме ли вы! Меня... ах, это невероятно! Меня в образе Пресвятой Девы! – воскликнула она и снова засмеялась. – Погодите-ка, я покажу вам другой портрет свой – портрет, который я сама написала, – вы должны мне его скопировать.

У окна мелькнула ее голова, пылающая огнем на солнце.

– Григорий!

Я взбегаю по лестнице мимо галереи в мастерскую.

– Проводи его в ванную, – приказала мне Ванда, сама поспешно выбегая.

Через несколько секунд спустилась с лестницы Ванда, одетая только в один соболий плащ, с хлыстом в руке – и растянулась, как в тот раз, на бархатных подушках. Я лег у ног ее, и она поставила свою ногу на меня, а правая рука ее играла хлыстом.

– Посмотри на меня, – сказала она мне, – своим глубоким фанатическим взглядом... вот так... так, хорошо...

Художник страшно побледнел. Он пожирал эту сцену своими прекрасными, мечтательными голубыми глазами, губы его шевельнулись, раскрылись, но не издали ни звука.

– Ну, нравится вам эта картина?

– Да... Такой я напишу вас... – проговорил немец. В сущности, это были не слова, а красноречивый стон, рыдание больной, смертельно больной души.

\* \* \*

Рисунок углем окончен, набросаны головы, тела. В нескольких смелых штрихах уже вырисовывается ее дьявольский облик, в зеленых глазах сверкает жизнь.

Ванда стоит перед полотном, сложив на груди руки.

– Картина будет, как большинство картин венецианской школы, портретом и историей в одно и то же время, – объясняет художник, снова побледнев, как смерть.

– А как вы назовете ее? – спросила она. – Но что это с вами – вы больны?

– Мне страшно... – сказал он, с выражением муки в глазах глядя на красавицу в мехах. – Будемте, однако, говорить о картине.

– Да, будем говорить о картине.

– Я представляю себе богиню любви, снизошедшую с Олимпа к смертному на нынешнюю холодную землю. Она зябнет здесь и старается согреть свое величавое тело в мехах и зябнувшие ноги – на теле возлюбленного. Я представляю себе фаворита прекрасной деспотической властительницы, наносящей рабу удары хлыстом, когда устанет целовать его, а он тем безумнее любит ее, чем больше она попирает его ногами... Вот это я себе представляю и

назову картину «Венерой в мехах».

\* \* \*

Художник медленно пишет. Но тем быстрее растет его страсть. Боюсь, он кончит тем, что лишит себя жизни. Она играет им, задает ему загадки, а он не может их решить и чувствует, что кровь его сочится... а она всем этим забавляется.

Во время сеанса она лакомится конфетами, скатывает из бумажек шарики и бросает ими в него.

– Мне приятно, что вы так хорошо настроены, сударыня, – говорит художник, – но ваше лицо совершенно потеряло то выражение, которое мне нужно для моей картины.

– То выражение, которое вам нужно для картины? – повторяет она улыбаясь. – Потерпите минутку...

Она выпрямляется во весь рост и наносит мне удар хлыстом. Художник в оцепенении смотрит на нее, лицо его выражает детское изумление, смешанное с ужасом и обожанием.

И с каждым наносимым мне ударом лицо Ванды принимает все больше и больше тот характер жестокости и издевательства, который приводит меня в жуткий восторг.

– Теперь у меня то выражение, которое вам нужно для вашей картины?

Художник в смятении опускает глаза перед холодным, стальным блеском ее глаз.

– Выражение то... – пролепетал он запинаясь, – но я не могу писать теперь...

– Почему? – насмешливо говорит Ванда. – Быть может, я могу вам помочь?

– Да! – крикнул он, как безумный. – Ударьте и меня!..

– О, с удовольствием! – говорит она, пожимая плечами. – Но если я хлестну, то хлестну серьезно.

– Захлестните меня насмерть!

– Так вы дадите мне связать вас? – улыбаясь, спрашивает Ванда.

– Да... – простонал он.

Ванда вышла на минуту и вернулась с веревками в руках.

– Ну-с... вы не раздумали? Решаетесь отдаться всецело на гнев и на милость Венеры в мехах, прекрасной женщины-деспота? – заговорила она насмешливо.

– Вяжите меня... – глухо ответил художник.

Ванда связала ему руки за спиной, продела одну веревку под руки, другую накинула на талию и привязала его так к оконной перекладине, потом откинула плащ, взяла хлыст и подошла к нему.

Для меня эта сцена была полна невыразимого, страшного очарования... Я чувствовал гулкие удары своего сердца, когда она со смехом вытянула руку для первого удара, замахнулась, хлыст со свистом прорезал воздух, и он слегка

вздрагнул под ударом...

Потом, когда она с полураскрытым ртом – так, что зубы ее сверкали из-за красных губ, – наносила удар за ударом, а он смотрел на нее своими трогательными голубыми глазами, словно моля о пощаде... Я не в силах описать это.

\* \* \*

Она теперь позирует одна. Он работает над ее головой.

Меня она поместила в соседней комнате за тяжелой дверной портьерой, откуда меня не было видно, но мне было видно все.

Что же она делает?..

Бойтся она его? Совсем уже с ума она его свела? Или это задуманная новая попытка для меня?

У меня дрожат колени.

Они беседуют. Он так сильно понизил голос, что я ничего не могу разобрать... и она так же отвечает...

Что же это значит? Нет ли между ними соглашения?

Я страдаю ужасно, невыразимо, – у меня сердце готово разорваться.

Вот он становится перед ней на колени, обнимает ее, прижимает свою голову к ее груди... а она... жестокая... она смеется, и вот я слышу, она говорит громко:

– Ах, вам опять хлыст нужен!..

– Красавица моя... моя богиня!.. – восклицает юноша. – Неужели же у тебя совсем нет сердца? Неужели ты совсем не умеешь любить? Совсем не знаешь, что значит любить, изнемогать от томления, от страсти... Неужели ты и представить себе не можешь, как я страдаю? Неужели нет в тебе совсем жалости ко мне?

– Нет! – гордо и насмешливо отвечает она. – Есть только хлыст.

Она быстро вытаскивает его из кармана своего плаща и наносит ему ручкой удар в лицо.

Он выпрямляется и отступает от нее на несколько шагов.

– Теперь вы уже можете писать? – равнодушно спрашивает она.

Он ничего не отвечает, молча подходит снова к мольберту и берется за кисти и палитру.

Она изумительно удачно вышла. Это портрет, положительно несравненный по сходству, – в то же время как будто идеальный образ, так знойны, так сверхъестественны – я сказал бы, так дьявольски жгучи краски.

Художник вложил в картину все свои муки, свое обожание и свое проклятие.

\* \* \*

Теперь он пишет меня. Мы проводим ежедневно по несколько часов наедине.

Сегодня он вдруг обратился ко мне и сказал своим вибрирующим голосом:

– Вы любите эту женщину?

– Да.

– Я тоже люблю ее.

Слезы залили ему глаза. Несколько времени он молча продолжал писать.

– У нас в Германии есть гора, – пробормотал он потом про себя, – в которой она живет. Она – дьяволица.

\* \* \*

Картина готова.

Она хотела заплатить за нее щедро, по-царски. Он отказался.

– О, вы уже мне заплатили, – сказал он со страдальческой улыбкой.

Перед своим уходом он таинственно приоткрыл свою папку и дал мне заглянуть. Я испугался. Ее голова взглянула на меня совершенно как живая – словно из зеркала.

– Ее я унесу с собой, – сказал он. – Это – мое, этого она не может отнять у меня, я ее тяжко заслужил.

\* \* \*

– В сущности, мне все же жаль бедного художника, – сказала она мне сегодня. – Глупо и смешно быть такой добродетельной, как я. Ты этого не находишь?

Я не посмел ответить ей.

– Ах, я забыла, что говорю с рабом... Я хочу выехать, хочу рассеяться, забыться. Коляску, живо!

\* \* \*

Новый фантастический туалет: русские полусапожки из фиолетового бархата с горностаевой опушкой, фиолетовое же бархатное платье, подхваченное и подбитое горностаем, соответственное коротенькое пальто, плотно прилегающее и так же богато подбитое и отделанное горностаем, высокая горностаевая шапка, приколотая бриллиантовым аграфом на распущенных по спине рыжих волосах.

В таком наряде она садится на козлы и правит сама, я сажусь позади нее. Как она хлещет лошадей! Они мчатся, как бешеные, вперед.

Она, видимо, старается произвести сегодня сенсацию, покорять сердца – и это ей вполне удастся. Сегодня она – львица на гулянье. Из экипажей ей то и дело кланяются, на тротуарах толпятся группами, разговаривая о ней. Но она ни на кого не обращает внимания, изредка только отвечает легким кивком головы на поклоны кавалеров постарше.

Навстречу скачет на стройном горячем коне молодой человек; завидев Ванду, он сдерживает коня и пускает его шагом; вот он уже совсем близко...

осаживает лошадь, пропускает ее вперед... в эту минуту и она замечает его, львица – льва. Глаза их встречаются... и, промчавшись мимо него, она, не в силах противиться его магической власти, поворачивает голову назад, глядит вслед ему.

У меня замирает сердце, когда я перехватываю этот полуизумленный, полувосхищенный взгляд, которым она окидывает его, – но он этого заслуживает.

В самом деле, очень красивый мужчина. Нет, больше чем красивый. Живого такого мужчину я еще никогда не видел. В Бельведере он стоит высеченный из мрамора – с той же стройной и все же железной мускулатурой, с тем же лицом, с теми же развевающимися кудрями и – что придает ему такую своеобразную красоту – совсем без бороды.

Если бы не ляжки, его можно было бы принять за переодетую женщину, а странная складка вокруг рта, львиная губа, из-под которой виднеются зубы, придают всему лицу мимолетное выражение жестокости.

Аполлон, сдирающий кожу с Марсия...

На нем высокие черные сапоги, узкие рейтузы из белой кожи, короткая меховая куртка – вроде тех, которые носят итальянские офицеры-кавалеристы, – из черного сукна с каракулевой опушкой и отделкой из шнурков; на черных кудрях красная феска.

В эту минуту я понял мужской эрос и удивился бы, если бы Сократ остался добродетельным перед подобным Алкивиадом.

\* \* \*

В таком возбуждении я еще никогда не видал мою львицу. Щеки ее пылали, когда она соскочила с коня перед подъездом своей виллы, быстро начала подниматься по лестнице и знаком приказала мне следовать за ней.

Шагая крупными шагами взад и вперед по своей комнате, она заговорила с такой нервностью, которая меня испугала:

– Ты узнаешь, кто был тот всадник, которого мы встретили в парке, – сегодня же, сейчас же... О, что за мужчина! Ты его видел? Каков? Говори!

– Он красив, – глухо ответил я.

– Он так хорош... – она умолкла и оперлась на спинку кресла, – что у меня дух захватило...

– Я понимаю, какое впечатление он должен был произвести на тебя... – Говорю и чувствую, что моя фантазия снова закружила меня бешеным вихрем... – Я сам был вне себя и могу себе представить...

– Можешь себе представить, что этот человек – мой возлюбленный и что он бьет тебя хлыстом... и для тебя наслаждение – принимать удары от него... Теперь ступай... Ступай!

\* \* \*

Еще до наступления вечера я собрал справки о нем.

Ванда была еще одета, когда я вернулся. В выездном туалете лежала она на оттоманке, зарывшись лицом в руки, со спутанными волосами, напоминавшими рыжую львиную гриву.

– Как зовут его? – спросила она со зловещим спокойствием.

– Алексей Пападополис.

– Значит, грек?

Я кивнул головой.

– Он очень молод?

– Едва ли старше тебя. Говорят, он получил образование в Париже. Слывет атлетом. Он сражался с турками на Крите и, говорят, отличался там своей расовой ненавистью и своей жестокостью не меньше, чем своей храбростью.

– Словом, мужчина во всех отношениях!.. – воскликнула она.

– В настоящее время он живет во Флоренции, – продолжал я, – говорят, у него огромное состояние...

– Об этом я не спрашивала, – быстро и резко перебила она. – Он опасен, – заговорила она снова после паузы. – Ты боишься его? Я его боюсь. Есть у него жена?

– Нет.

– Возлюбленная?

– Тоже нет.

– В каком театре он бывает?

– Сегодня он в театре Николини, где играют гениальная Вирджиния Марини и Сальвини, величайший из современных артистов в Италии, – быть может, во всей Европе.

– Ступай достань ложу... Живо! Живо!

– Но, госпожа...

– Хочешь отведать хлыста?

\* \* \*

– Можешь подождать в партере, – сказала она мне, когда я положил ее бинокль и афишу на барьер ложи и пододвинул ей скамейку под ноги.

И вот я стою и вынужден прислониться к стене, чтобы не свалиться с ног – от зависти, от ярости... Нет, ярость – неподходящее слово – от смертельной тревоги.

Я вижу ее в ложе в голубом муаровом платье, с широким горностаевым плащом на обнаженных плечах и напротив нее – его. Я вижу, как они пожирают друг друга глазами, как для них обоих не существует ни сцена, ни Памела Гольдони, ни Сальвини, ни Марини, ни публика, ни весь мир...

А я... Что я такое в эту минуту?

\* \* \*

Сегодня она едет на бал в греческое посольство. Рассчитывает встретить его там.

Оделась она, по крайней мере, с этим расчетом. Тяжелое светло-зеленое шелковое платье цвета морской воды пластически облегает ее божественные формы, оставляя обнаженными бюст и руки. В волосах, собранных в один-единственный огненный узел, цветет белая водяная лилия, и зеленые водоросли спускаются вдоль спины, перемешанные с несколькими свободными прядями волос.

Ни тени в ней не осталось прежнего волнения, лихорадочного трепета; она спокойна – так спокойна, что у меня кровь стынет, глядя на нее, и сердце у меня холодеет под ее взглядом.

Медлительно, величаво, устало-лениво подымается она по мраморным ступеням, сбрасывает свой драгоценный покров и небрежно входит в зал, полный серебристого тумана от дыма сотен свечей.

Как потерянный, смотрю я несколько минут ей вслед, потом подымаю ее плащ, выскользнувший у меня из рук так, что я этого и не заметил. Он еще сохраняет теплоту ее плеч.

Я целую это место, глаза мои наполняются слезами.

\* \* \*

Вот и он. В черном бархатном камзоле, богато, до расточительности, опушенном темным соболем, – это красивый, высокомерный деспот, привыкший играть человеческой жизнью, человеческой душой.

Он останавливается в вестибюле, гордо озирается вокруг и останавливает на мне зловеще-долгий взгляд.

И меня снова охватывает под его ледяным взглядом та же страшная, смертельная тревога – предчувствие, что этот человек может ее увлечь, приковать, покорить себе... и чувство стыда перед его неустрашимым, диким мужеством – чувство зависти, ревности...

И что всего позорнее: я хотел бы ненавидеть его – и не могу.

Каким образом и он меня заметил – именно меня, среди целой толпы слуг?

Кивком головы он подзывает меня – неподражаемо благородное движение головой! – и я... против собственной воли повинуюсь его повелительному знаку.

– Сними с меня шубу, – спокойно приказывает он.

Я дрожу всем телом от негодования, но повинуюсь, – смиренно, как раб.

Всю ночь я сижу и жду в передней и брежу, как в лихорадочном жару. Странные образы и картины проносятся перед моим внутренним взором...

Я вижу, как они встречаются, вижу первый долгий взгляд... вижу, как она носится по зале в его объятьях, склонившись в упоении к нему на грудь с полузакрытыми глазами... Я вижу его в святилище любви лежащим на оттоманке, не в качестве раба – в качестве господина... вижу ее у его ног, себя на коленях, прислуживающим ему... вижу, как задрожал чайный поднос в моей руке и как он схватился за хлыст...

Вдруг слышу, слуги говорят о нем.

Он странный мужчина, похожий на женщину; он знает, что он хорош, и

держится соответственно этому; меняет по четыре, по пять раз в день кокетливый туалет – словно тщеславная куртизанка.

В Париже он появился вначале в женском платье, и мужчины засыпали его любовными письмами. Один знаменитый итальянский певец, знаменитый своим талантом столько же, сколько своей страстностью, ворвался даже в квартиру его и грозил лишиться себя жизни, если не добьется благосклонности.

– Мне очень жаль, – ответил он с улыбкой, – мне было бы очень приятно подарить вам благосклонность, но теперь ничего другого не остается, как исполнить ваш смертный приговор, потому что я... мужчина.

\* \* \*

Зал уже значительно опустел, но она еще, по-видимому, совсем не думает собираться.

Сквозь опущенные жалюзи уже забрезжило утро.

Наконец-то прошелестел ее тяжелый шелк, струящийся вокруг нее и за ней потоком зеленых волн. Медленно, шаг за шагом подходит она, разговаривая с ним на ходу.

Я совсем в эту минуту не существую для нее, она не дает себе даже труда приказать мне что-нибудь.

– Плащ для мадам, – приказывает он, совершенно не подумав, конечно, помочь ей сам.

Пока я надеваю на нее плащ, он стоит рядом с ней, скрестив руки. А она, пока я, стоя на коленях, надеваю ей меховые ботинки, опирается слегка о его плечо и спрашивает:

– Вы начали о нраве львицы?

– Когда на льва, которого она избрала, с которым она живет, нападает другой, – продолжал свой рассказ грек, – львица спокойно ложится наземь и созерцает борьбу, и если ее супруг терпит поражение, она не приходит на помощь к нему – она равнодушно смотрит, как он истекает кровью в когтях своего противника, и следует за победителем, за сильнейшим. Такова природа женщины.

Моя львица окинула меня в эту минуту быстрым и странным взглядом.

Дрожь пробежала по всему моему телу, сам не знаю почему, а красная заря обдала меня, и ее, и его словно кровавым потоком.

\* \* \*

Спать она не легла; она только сбросила бальный туалет и распустила волосы, потом приказала мне затопить камин и села перед ним, недвижно глядя на огонь.

– Нужен ли я тебе еще, госпожа? – спросил я, и голос мой дрогнул, я с усилием произнес последнее слово.

Ванда отрицательно покачала головой.

Я вышел из спальни, прошел через галерею и опустился на ступени

лестницы, ведущей из нее в сад.

Легкий северный ветер нес с Арно свежую, влажную прохладу, зеленые холмы высились вдаль в розовом тумане, золотой пар струился над городом, над круглым куполом собора.

На бледно-голубом небе еще мерцали одинокие звезды.

Я порывисто расстегнул свою куртку и прижался пылающим лбом к мрамору. Ребяческой игрой показалось мне в эту минуту все, что было до сих пор. Серьезное наступало теперь, и страшно серьезное.

Я предчувствовал катастрофу – я как будто уже видел ее перед собой, мог осязать ее руками, но у меня не хватало духу стать с ней лицом к лицу, мои силы были надломлены.

Если искренно сознаться, – меня пугали не муки, не страдания, которые могли обрушиться на меня, не унижения и оскорбления, которые могли мне предстоять.

Я чувствовал один только страх – страх потерять ее, ту, которую я фанатически любил, – и этот страх был так ужасен, так чудовищен, что я вдруг разрыдался, как дитя.

\* \* \*

Весь день она оставалась, запершись, в своей комнате, и прислуживала ей негритянка.

Когда засверкала в голубом эфире вечерняя звезда, я видел, как она прошла через сад, и, осторожно следуя за ней издали, видел, что она вошла в храм Венеры.

Я прокрался за ней и заглянул в дверную щель.

Она стояла перед величавым образом богини, сложив руки, как для молитвы, и священный свет звезды любви лил на нее свои голубые лучи.

\* \* \*

Ночью, когда я валялся на своем ложе, меня охватил такой страх, что я могу потерять ее, отчаяние овладело мной с такой силой, что сделало меня отважным героем. Я зажег маленькую красную масляную лампочку, висевшую перед образом в коридоре, и вошел, затеняя свет рукой, в ее спальню.

Львица, выбившаяся из сил, затравленная, загнанная насмерть, уснула в своих подушках. Она лежала на спине, сжав кулаки, и тяжело дышала. Казалось, ее тревожили сны. Медленно отнял я руку, которой заслонял свет, и осветил ее дивное лицо ярким красным светом.

Но она не проснулась.

Осторожно поставил я лампу на пол, опустился на колени перед кроватью Ванды и положил голову на ее мягкую, пылавшую руку.

Она слегка пошевелинулась, но не проснулась и теперь.

Сколько времени я пролежал так среди ночи, окаменев от страшных мучений, – не знаю.

Наконец меня охватила сильная дрожь – явились благодетельные слезы. Я плакал, и слезы текли по ее руке. Она вздрогнула несколько раз – наконец проснулась, провела рукой по глазам и посмотрела на меня.

– Северин! – воскликнула она скорее с испугом, чем с гневом.

Я не в силах был откликнуться.

– Северин! – тихо позвала она снова. – Что с тобой? Ты болен?

В ее голосе звучало столько участия, столько доброты, столько ласки, что меня схватило за сердце, словно раскаленными щипцами, и я громко зарыдал.

– Северин, – проговорила она снова, – бедный мой, бедный мой друг! – Она ласково провела рукой по моим кудрям. – Мне жаль, страшно жаль тебя, но я ничем не могу помочь тебе... при всем горячем желании я не могу придумать лекарства для тебя!..

– О Ванда, неужели это неизбежно? – мучительным тоном вырвалось у меня.

– Что, Северин? О чем ты?

– Неужели ты совсем меня больше не любишь? Неужели у тебя не осталось и капли сострадания ко мне? Так овладел твоей душой этот чужой красавец?

– Я не хочу лгать тебе, – мягко заговорила она после небольшой паузы, – он произвел на меня такое впечатление, от которого я не в силах отделаться, от которого я сама страдаю и трепещу... такое впечатление, о котором мне только случалось читать у поэтов, видеть на сцене, но которое казалось мне до сих пор созданием фантазии...

О, этот человек – настоящий лев, сильный, прекрасный и гордый – и все же мягкий, не грубый, как наши мужчины на севере. Мне жаль и больно за тебя, – поверь мне, Северин! – но он должен быть моим... ах, не то я говорю! – я должна ему отдаться, если он захочет взять меня...

– Подумай же о своей чести, Ванда, если я уж ничего для тебя не значу! Она была незапятнанной до сих пор.

– Я думаю об этом – я хочу быть сильна, пока я в состоянии, я хочу... – она смущенно зарылась лицом в подушки, – я хочу... стать его женой... если он этого захочет.

– Ванда! – крикнул я, снова охваченный смертельной тревогой, захватывавшей мне дыхание, туманившей мне голову. – Женой его ты хочешь стать, навеки принадлежать ему хочешь! О Ванда, не отталкивай меня от себя! Ванда, он не любит тебя...

– Кто сказал тебе это! – воскликнула она, вся загоревшись.

– Он не любит тебя! – страстно повторил я. – А я люблю тебя, я боготворю тебя, я – твой раб, я хочу, чтобы ты ногами топтала меня, – на руках своих я хочу пронести тебя через всю жизнь...

– Кто сказал тебе, что он меня не любит?! – нервно перебила она.

– О, будь моей, – молил я, – ведь я не могу больше жить, существовать без тебя! Пожалей же меня, Ванда!

Она подняла глаза на меня – и теперь это был снова знакомый холодный, бессердечный взгляд, знакомая злая улыбка.

– Ты сказал ведь, что он меня не любит! – насмешливо сказала она. – Ну и отлично, утешься же этим.

И, сказав это, она отвернулась, повернувшись спиной ко мне.

– Боже мой, разве же ты не живой человек из плоти и крови!.. Разве нет у тебя сердца, как у меня! – с усилием вырвалось у меня восклицание из судорожно сжатой груди.

– Ты ведь знаешь, – злобно ответила она, – я ведь из камня... «Венера в мехах», твой идеал... Ну и стой на коленях, молись на меня!

– Ванда... хоть каплю жалости!..

Она засмеялась. Я припал лицом к ее подушкам, слезы, в которых изливались мои муки, хлынули из моих глаз.

Долго все было тихо, потом Ванда медленно приподнялась.

– Ты мне надоел!

– Ванда!..

– Я спать хочу, ты мне мешаешь... дай мне уснуть.

– Пожалей меня, Ванда, не отталкивай меня... никто, никто никогда не будет так любить тебя, как я...

– Не мешай мне спать, – проговорила она, снова повернувшись ко мне спиной.

Я вскочил, сорвал со стены висевший недалеко от ее кровати кинжал и приставил его к своей груди.

– Я убью себя здесь на твоих глазах... – глухо пробормотал я.

– Делай что хочешь... – с совершенным равнодушием ответила она, – только не мешай мне спать.

Она громко зевнула.

– Мне очень хочется спать.

На мгновение я окаменел... Потом я расхохотался, потом снова зарыдал – наконец засунул себе за пояс кинжал, снова бросился перед ней на колени.

– Ванда... выслушай меня только... только несколько минут еще...

– Я спать хочу, ты слышал?! – гневно крикнула она, вскочила с постели и толкнула меня ногой. – Ты, кажется, забыл, что я твоя госпожа?

Но я не трогался с места.

Тогда она схватила хлыст и ударила меня. Я поднялся – она ударила меня еще раз... на этот раз в лицо...

– Послушай... раб!

Подняв руки к небу, сжав кулаки в порыве внезапной решимости, я вышел из ее спальни.

Она отшвырнула хлыст и разразилась громким смехом.

Да, я представляю себе, что был порядочно комичен со своими театральными жестами.

\* \* \*

Решившись избавиться от этой бессердечной женщины, которая была так жестока ко мне и теперь, в награду за все мое рабское обожание, за все, что я

терпел от нее, готова предательски изменить мне, – я складываю в узел свои небольшие пожитки и сажусь за письмо к ней.

«Милостивая государыня!

Я любил Вас, как безумный, я отдался Вам душой и телом так, как никогда еще не отдавался женщине мужчина, а Вы глумились над моими священнейшими чувствами и недостойно, легкомысленно, постыдно играли мной.

Но пока Вы были только жестоки и безжалостны, я все же мог еще любить Вас. Теперь же Вы становитесь низменны, *пошлы*. И я не раб Ваш больше – Вам больше не топтать меня ногами и не хлестать хлыстом. Вы сами меня освободили – и я ухожу от женщины, которую могу теперь только ненавидеть и *презирать*.

*Северин Кузимский*».

Эти несколько строк я передаю негритянке и бегу, как только могу, быстро. Запыхавшись, без сил прибегаю я на вокзал – вдруг чувствую страшный укол в сердце... я останавливаюсь и разражаюсь рыданиями... О позор, позор! Я хочу бежать и не могу!

Я возвращаюсь... куда? – к ней!.. к той, которую я презираю и боготворю в одно и то же время.

Но что же это я делаю? Я не могу вернуться, я не должен возвращаться!

Как же я, однако, уеду из Флоренции? Я вспоминаю, что у меня совсем нет денег, ни гроша.

Ну что ж! Пешком! Милостыню просить честнее, лучше, чем есть хлеб куртизанки!

Но ведь я не могу же уехать: я дал ей слово, честное слово...

Я должен вернуться – быть может, она вернет мне слово.

Я быстро пробегаю несколько шагов и снова останавливаюсь. Я дал ей честное слово, поклялся ей, что буду ее рабом, пока она этого захочет, пока она сама не дарует мне свободу. Да! Но ведь покончить с собой я могу!

Я прохожу городской парк, спускаюсь к Арно, иду берегом вниз по течению далеко, далеко, туда, где желтые воды ее омывают с однообразным плеском заброшенные луга. Там я сажусь и свожу последние счета с жизнью. Я перебираю в памяти всю свою жизнь и нахожу, что она была порядочно бедна и жалка... Редкие радостные мгновения, бесконечно много бесцветного, вздорного, неинтересного... в промежутках бездна страданий, горя, тоски, разочарований, погибших надежд, досады, забот и печали.

Мне вспомнилась моя мать, которую я сильно любил и видел умирающей от ужасной болезни... Вспомнился брат с его запросами наслаждения и счастья, умерший в расцвете молодости, не коснувшись и губами до кубка жизни...

Я вспомнил свою умершую кормилицу, товарищей детских игр, друзей юности, с которыми вместе учился, делил стремления, надежды, планы, – всех, кого прикрыла холодная, мертвая, равнодушная земля. Вспомнился мне мой

голубь-турман, часто ворковавший и заигрывавший со мной вместо своей подруги... прах обратился в прах.

Громко засмеявшись, я скользнул в воду, но в ту же минуту крепко уцепился за ивовый прут, висевший над желтой водой... Перед моими глазами встала женщина, погубившая меня...

Она несется над зеркальной поверхностью реки, вся освещенная солнцем, словно прозрачная... огненные пряди горят вокруг головы и над затылком... она поворачивается лицом ко мне и улыбается...

\* \* \*

И вот я снова здесь, насквозь промокший, вода струится ручьями с меня, я весь горю от стыда и лихорадочного жара. Негритянка передала мое письмо... я обречен, погиб – я весь во власти бессердечной, оскорбленной женщины.

Ну пусть она убьет меня! Сам я не могу – жить дольше все же хочу.

Хожу вокруг дома – вижу ее... Она стоит в галерее, перегнувшись через барьер, лицо ярко освещено солнцем, зеленые глаза сверкают.

– Ты еще жив? – спрашивает она, не шевельнувшись.

Я стою, безмолвно уронив голову на грудь.

– Отдай мне мой кинжал, он тебе не может понадобиться. У тебя даже не хватает мужества лишить себя жизни.

– У меня его нет, – говорю я, весь дрожа, потрясаемый ознобом.

Она бегло окидывает меня надменным, насмешливым взглядом.

– Вероятно, уронил его в Арно? – Она пожимает плечами. – Ну и пусть. Отчего же ты не уехал?

Я что-то пробормотал, чего ни она, ни сам я не мог разобрать.

– Ах, у тебя денег нет? На! – и невыразимо пренебрежительным движением она швырнула мне свой кошелек.

Я не поднял его.

Долго молчали мы оба.

– Итак, ты уехать не хочешь?

– Не могу.

\* \* \*

Ванда едет кататься в парк без меня, бывает в театре без меня, принимает гостей, негритянка служит ей. Никто не зовет меня. Я слоняюсь без цели по саду, как собака, отбившаяся от хозяина.

Лежу в кустах, смотрю на двух воробьев, дерущихся из-за зерна.

Вдруг слышу шелест женского платья.

Ванда проходит близко от меня в темном шелковом платье, целомудренно глухом до самого подбородка. С нею грек. Они оживленно разговаривают, но я не могу разобрать ни слова. Вот он топнул ногой так, что гравий разлетелся во все стороны, и взмахнул в воздухе хлыстом. Ванда вздрогнула.

Не боится ли она, что он ее ударит?

Так далеко у них зашло?

\* \* \*

Он ушел от нее, она зовет его, он не слышит ее, не хочет слышать.

Ванда печально поникла головой и опустила на ближайшую каменную скамью. Долго сидит она, погруженная в думы. Я смотрю на нее почти со злорадством, наконец заставляю себя вскочить и с насмешливым видом подхожу к ней. Она вскакивает, дрожа всем телом.

– Я пришел только затем, чтобы поздравить вас и пожелать вам счастья... – говорю я с поклоном. – Я вижу, сударыня, вы нашли себе господина...

– Да, слава богу! Не нового раба – довольно с меня их! – господина! Женщине нужен господин, его она может боготворить.

– И ты боготворишь его! – воскликнул я. – Этого грубого человека!..

– Я люблю его так, как еще никого никогда не любила!

– Ванда!.. – крикнул я, сжав кулаки.

Но тотчас же на глазах у меня выступили слезы. Порыв страсти охватил меня, сладостное безумие.

– Хорошо... выбери его, возьми его в супруги, пусть он будет господином твоим... пусть! Но я хочу остаться твоим рабом, пока я жив...

– Ты хочешь быть моим рабом – даже в таком случае? Что ж, это было бы пикантно. Боюсь только, что он этого не потерпит.

– Он?

– Да, он уже и теперь ревнует к тебе, – воскликнула она, – он к тебе! Он требовал, чтобы я немедленно отпустила тебя, и когда я сказала ему, кто ты...

– Ты сказала ему... – в оцепенении повторил я.

– Я все ему сказала! Рассказала всю историю наших отношений – все странности твои, все... и он... вместо того чтобы расхохотаться, рассердился... топнул ногой...

– И погрозил ударить тебя?

Ванда смотрела в землю и молчала.

– Да, да, Ванда, – воскликнул я с горькой насмешкой, – ты боишься его!

И, бросившись перед ней на колени, я говорил, взволнованно обнимая ее колени:

– Ведь я ничего от тебя не хочу, ничего! Только быть всегда вблизи тебя, твоим рабом... твоей собакой я буду!..

– Знаешь, ты надоел мне... – апатично проговорила Ванда.

Я вскочил. Сердце во мне разгорелось.

– Это уже не жестокость, это – низость, пошлость! – сказал я, отчетливо и резко отчеканивая каждое слово.

– Вы уже это сказали в своем письме, – отрезала она с гордым пожатием плеч. – Умному человеку не следует повторяться.

– Как ты со мной обращаешься! – не выдержал я. – Как назвать твое поведение?!

– Я могла бы отхлестать тебя, – насмешливо протянула она. – Но на этот

раз я предпочитаю ответить тебе не ударами хлыста, а словами убеждения.

Ты никакого права не имеешь обвинять меня в чем-нибудь. Разве не была я всегда искренна с тобой? Не предостерегала ли я тебя много раз? Не любила ли я тебя глубоко, страстно? Разве я скрывала от тебя, что отдаваться мне так, так унижать себя предо мной опасно, – что я хочу сама покоряться? Но ты хотел быть моим рабом, моей игрушкой. Ты находил высочайшее наслаждение в том, чтобы чувствовать на себе пинки ног, удары хлыста высокомерной, жестокой женщины.

Так чего же ты хочешь теперь?

Во мне дремали опасные наклонности – ты первый их пробудил. Если я нахожу теперь удовольствие в том, чтобы мучить, оскорблять тебя, – виноват в этом ты один! Ты сделал меня такой, какова я теперь, и ты так малодушен, бесхарактерен и жалок, что обвиняешь *меня*.

– Да, я виноват. Но я достаточно выстрадал все это. Оставь это теперь, довольно, прекрати жестокую игру!

– Этого я и хочу, – сказала она, посмотрев на меня каким-то странным, неискренним взглядом.

– Не доводи меня до крайности, Ванда! – нервно воскликнул я. – Ты видишь, теперь я снова мужчина.

– Пожар, вспыхнувший в соломе!.. Забушует на мгновение и потухнет так же быстро, как и загорелся. Ты думаешь вернуть себе мое уважение, но ты мне только смешон. Если бы ты оказался тем, за кого я тебя приняла вначале, – человеком серьезным, глубоким, строгим, – я преданно любила бы тебя и сделалась бы твоей женой.

Женщине нужен такой муж, на которого она могла бы смотреть снизу вверх, а такого, который – как ты – добровольно подставляет спину, чтобы она могла поставить свои ноги на нее, – такого она берет, как занятную игрушку, и бросает прочь, когда он наскучит.

– Попробуй только бросить меня! – насмешливо сказал я. – Бывают опасные игрушки...

– Не выводите меня из себя! – воскликнула Ванда. Глаза ее сверкали, лицо покраснело.

– Если ты не будешь больше моей, то пусть не будешь ничьей! – продолжал я глухим от ярости голосом.

– Из какой это пьесы сцена? – издеваясь, спросила она.

Потом, вся бледная от гнева, схватила меня за грудь.

– Не выводите меня из себя! Я не жестока, но я сама не поручусь, до чего я способна дойти и сумею ли тогда удержаться в границах...

– Что можешь ты сделать мне худшего и большего, как сделать его своим возлюбленным, своим супругом? – крикнул я, разгораясь все больше и больше.

– Я могу заставить тебя быть его рабом, – быстро проговорила она. – Разве ты не весь в моей власти? У меня есть договор.

Но для меня будет, конечно, только наслаждением, если я велю тебя связать и скажу ему: «Делайте с ним теперь что хотите!»

– Ванда, ты с ума сошла! – воскликнул я.

– Я в полном уме, – спокойно ответила она. – Предостерегаю тебя в последний раз. Не оказывай мне теперь сопротивления. Теперь, когда я зашла так далеко, я могу пойти еще дальше. Я почти ненавижу тебя теперь, я могла бы с истинным удовольствием смотреть, как он избил бы тебя до смерти... Пока я еще обуздываю себя, пока...

Едва владея собой, я схватил ее за руку выше кисти и пригнул ее к земле, так что она упала передо мной на колени.

– Северин! – воскликнула она, и на лице ее отразились бешенство и ужас.

– Я убью тебя, если ты сделаешься его женой, – угроза вырвалась из груди моей глухим и хриплым звуком. – Ты моя, я не отпущу, не отдам тебя – я слишком люблю тебя!..

Я охватил рукой ее стан и крепко прижал ее к себе, а правой рукой невольно схватился за кинжал, все еще торчавший у меня за поясом.

Ванда устремила на меня долгий, невозмутимо-спокойный, непонятный взгляд.

– Таким ты нравишься мне, – спокойно проговорила она. – Теперь ты похож на мужчину – и в эту минуту я почувствовала, что я еще люблю тебя.

– Ванда!.. – От восторга у меня выступили слезы на глаза. Я склонился к ней, покрывал поцелуями ее очаровательное личико, а она, вдруг залившись звонким, веселым смехом, сказала:

– Довольно с тебя наконец твоего идеала? Доволен ты мной?

– Что ты... говоришь? Не серьезно же ты...

– Серьезно то, что я люблю тебя, одного тебя! – весело продолжала она. – А ты, милый, глупый, не замечал, не понимал, что все это была только шутка, игра... не видал, как трудно мне бывало часто наносить тебе удар, когда мне так хотелось бы обнять твою голову и поцеловать тебя...

Но теперь все это кончено, кончено – правда? Я лучше провела свою жестокую роль, чем ты ожидал от меня, – теперь ты будешь рад обнять свою добрую, умненькую и... хорошенькую женочку – правда? Мы заживем...

– Ты будешь женой моей! – воскликнул я, не помня себя от счастья.

– Да, женой... дорогой мой, любимый... – прошептала Ванда, целуя мои руки.

Я поднял ее и прижал к себе.

– Ну вот, ты больше не Григорий, не раб – ты снова мой Северин, дорогой муж мой...

– А он... его ты не любишь? – взволнованно спросил я.

– Как мог ты даже поверить, что я люблю этого грубого человека! Но ты был в ослеплении... Как болело у меня сердце за тебя!..

– Я готов был покончить с собой...

– Ах, я и теперь дрожу при одной мысли, что ты уже был в Арно...

– Но ты же меня и спасла! – нежно воскликнул я. – Ты пронеслась над рекой и улыбнулась – и улыбка твоя вернула меня к жизни.

\* \* \*

Странное чувство я испытываю теперь, когда держу ее в объятиях и она, тихая, молчаливая, покоится у меня на груди и позволяет мне целовать себя и улыбается...

Мне кажется, что я вдруг пришел в себя после лихорадочного бреда или что я, после кораблекрушения, во время которого долгие дни боролся с волнами, ежеминутно грозившими поглотить меня, вдруг оказался наконец выброшенным на сушу.

\* \* \*

– Ненавижу эту Флоренцию, где ты был так несчастлив! – сказала она, когда я уходил, желая ей покойной ночи. – Я хочу уехать отсюда немедленно, завтра же. Будь добр, займись вместо меня несколькими письмами, а пока ты будешь писать их, я съезжу в город и покончу с прощальными визитами. Согласен?

– Конечно, конечно, милая, добрая моя женочка, красавица моя!

\* \* \*

Рано утром она постучалась в мою дверь и спросила, хорошо ли я спал. Как она очаровательно добра и приветлива! Никогда бы я не подумал, что кротость ей так к лицу.

\* \* \*

Вот уже больше четырех часов как она уехала; я давно окончил письма и сижу в галерее и смотрю вдоль улицы, не увижу ли вдали ее коляску.

Мне становится немножко тревожно, хотя, видит Бог, у меня нет никакого повода для сомнений или опасений. Но что-то давит мне грудь, не могу от этого отделаться. Быть может, это страдания минувших дней набросили тень на мою душу и еще не рассеялась эта тень...

\* \* \*

Вот и она – вся сияющая счастьем, довольством.

– Все хорошо? – спросил я, нежно целуя ее руку.

– Да, моя радость, мы сегодня ночью уедем. Помоги мне уложить чемоданы.

\* \* \*

Когда свечерело, она попросила меня самого съездить на почту, сдать ее письма. Я взял ее коляску и через час вернулся.

– Госпожа спрашивала вас, – сказала мне, улыбаясь, негритянка, когда я подымался по широкой мраморной лестнице.

– Был кто-нибудь?

– Никого не было, – ответила она и уселась на ступеньках, сжавшись в комок, как черная кошка.

Я медленно прохожу через зал и останавливаюсь у двери ее спальни.

Тихо отворив дверь, я раздвигаю портьеру.

Ванда лежит на оттоманке и, по-видимому, не замечает меня. Как хороша она в серебристо-сером шелковом платье, предательски облегающем ее дивные формы, оставляя обнаженными ее прекрасные бюст и руки.

Волосы ее подхвачены продетой в них черной бархатной лентой. В камине пылает яркий огонь, фонарик проливает свой красный свет, вся комната словно утопает в крови.

– Ванда! – окликаю я ее наконец.

– О Северин! – радостно восклицает она. – Как нетерпеливо я ждала тебя!

Она вскочила, крепко обняла меня, затем снова опустилась на великолепные подушки и хотела привлечь меня к себе, но я мягко опустился к ее ногам и положил ей голову на колени.

– Знаешь... я сегодня очень влюблена в тебя, – прошептала она, отвела с моего лба опустившуюся прядку волос и поцеловала меня в глаза. – Как хороши глаза твои!.. Они всегда мне нравились в тебе больше всего, а сегодня – они меня совсем опьяняют... Я изнемогаю...

Она потянулась всем своим прекрасным телом и нежно блеснула глазами из-под полусомкнутых ресниц.

– А ты... ты холоден совсем... словно в руках у тебя полено... погоди, я и тебя настрою влюбленно!..

И она снова прильнула, ласкаясь и лаская, к моим губам.

– Я не нравлюсь тебе больше! Мне надо, по-видимому, снова стать жестокой – сегодня я слишком добра к тебе. Знаешь, глупенький, я немножко побью тебя хлыстом...

– Перестань, дитя...

– Я так хочу!

– Ванда!

– Поди сюда, дай мне связать тебя... – Она шаловливо пробежала через всю комнату. – Я хочу видеть тебя влюбленным – по-настоящему, понимаешь? Вот и веревки. Только сумею ли я еще?

Она начала с того, что связала мне ноги, потом крепко прикрутила руки за спиной, потом связала меня по рукам, как преступника.

– Вот так! – весело и удовлетворенно сказала она. – Пошевелинуться можешь еще?

– Нет.

– Отлично.

Затем она сделала петлю из толстой веревки, набросила ее на меня через голову, сдвинула ее до самых бедер, потом плотно стянула петлю и привязала меня к колонне.

Необъяснимый ужас охватил меня в эту минуту.

– У меня такое чувство, точно мне предстоит казнь, – тихо сказал я.

– Сегодня ты и должен хорошенько отведать хлыста! – воскликнула Ванда.  
– Тогда надень и меховую кофточку, прошу тебя.  
– Это удовольствие я могу доставить тебе, – ответила она, доставая кацавейку и, улыбаясь, надевая ее.

Потом она сложила руки на груди и остановилась, глядя на меня полузакрытыми глазами.

– Знаешь ты историю об осле Дионисия-тирана? – спросила она.  
– Помню, но смутно, – а что?  
– Один придворный изобрел для тирана Сиракузского новое орудие пытки – железного осла, в который запирался приговоренный к смерти и ставился на огромный пылающий костер.

Когда железный осел накалялся и приговоренный начинал кричать в муках, – казалось, что ревет сам осел, так звучали изнутри его крики.

Дионисий одарил изобретателя милостивой улыбкой и, чтобы тут же произвести опыт с его изобретением, приказал заключить в железного осла самого изобретателя, первым.

История эта чрезвычайно поучительна.

*Ты* привил мне эгоизм, высокомерие, жестокость – *пусть же ты сделаешься первой жертвой* своего злого дела. Теперь я действительно нахожу удовольствие в сознании своей власти, в злоупотреблении этой властью над человеком, одаренным умом, и чувством, и волей, как и я, – над мужчиной, который умственно и физически сильнее меня, и в особенности, в особенности над человеком, который любит меня.

Любишь ты меня?

– До безумия! – воскликнул я.  
– Тем лучше. Тем большее наслаждение доставит тебе то, что я сейчас хочу сделать с тобой...

– Но что с тобой? Я не понимаю тебя... В глазах твоих действительно блестит сегодня жестокость, и так изумительно хороша ты. Совсем, совсем «Венера в мехах»...

Ничего не ответив, Ванда обвила рукой мою шею и поцеловала меня.

В этот миг меня снова охватил могучий, фанатический взрыв моей страсти.

– Где же хлыст? – спросил я.

Ванда засмеялась и отступила на два шага.

– Так ты во что бы то ни стало хочешь хлыста? – воскликнула она, надменно закинув голову.

– Да.

В одно мгновение лицо Ванды совершенно изменилось, точно исказилось гневом – на миг она мне даже показалась некрасивой.

– В таком случае возьмите хлыст! – громко воскликнула она.

И в ту же секунду раздвинулся полог ее кровати и показалась черная курчавая голова грека.

Вначале я онемел, оцепенел. Положение было до омерзительности комично – я сам громко расхохотался бы, если бы оно не было в то же время так безумно печально, так позорно для меня.

Это превосходило пределы моей фантазии. Дрожь пробежала у меня по спине, когда я увидел своего соперника в его высоких верховых сапогах, в узких белых рейтузах, в щегольской бархатной куртке... и взгляд мой остановился на его атлетической фигуре.

– Вы в самом деле жестоки, – сказал он, обернувшись к Ванде.

– Я только жажду наслаждений, – ответила она с неудержимым юмором. – Одно наслаждение – делать жизнь ценной. Кто наслаждается, тому тяжело расставаться с жизнью; кто страдает или терпит лишения, тот приветствует смерть, как друга.

Но кто хочет наслаждаться, тот должен принимать жизнь весело, – в том смысле, как это понимали древние, – его не должно страшить наслаждение, взятое за счет страданий других, он никогда не должен знать жалости, он должен запрягать других, как животных, в свой экипаж, в свой плуг; людей, чувствующих и жаждущих наслаждений, как и он сам, – превращать в своих рабов, без сожаления, без раскаяния эксплуатировать их на службе себе, для своего удовольствия, не считаясь с тем, не справляясь о том, хорошо ли они себя при этом чувствуют, не гибнут ли они.

Всегда он должен помнить одно, одно твердить себе: если бы я так же был в их руках, как они в моих, они бы так же поступали со мной, и мне пришлось бы оплачивать их наслаждения своим потом, своей кровью, своей душой.

Таков был мир древних. От века наслаждение и жестокость, свобода и рабство шли рука об руку. Люди, желающие жить подобно олимпийским богам, должны иметь рабов, которых они могут бросать в свои пруды, гладиаторов, которых они заставляют сражаться во время своих роскошных пиров, – и не принимать к сердцу, если на них при этом брызнет немного крови.

Ее слова совершенно отрезвили меня.

– Развяжи меня! – гневно крикнул я.

– Разве вы не раб мой, не моя собственность? Не угодно ли, я покажу вам договор?

– Развяжите меня! – громко и с угрозой крикнул я. – Иначе... – и я рванул веревки.

– Может он вырваться, как вы думаете? Ведь он грозил убить меня.

– Не беспокойтесь, – ответил грек, потрогав мои узлы.

– Я закричу «на помощь»...

– Никто не услышит вас, и никто не помешает мне снова глумиться над вашими священнейшими чувствами и легкомысленно играть вами... – говорила Ванда, повторяя с сатанинской насмешкой фразы из моего письма к ней.

– Находите вы меня в эту минуту только жестокой и безжалостной – или я готовлюсь сделать *низость, пошлость*? Говорите же. Любите вы меня еще или уже только ненавидите и презираете? Вот хлыст, возьмите... – Она протянула его греку, быстро подошедшему ко мне.

– Не смейте! – крикнул я, весь дрожа от негодования. – Вам я не позволю...

– Это вам только кажется оттого, что на мне нет мехов... – с невозмутимой улыбкой проговорил грек и взял с кровати свою короткую соболью шубу.

– Я от вас в восторге! – воскликнула Ванда, поцеловав его и помогая ему надеть шубу.

– Вы хотите, чтобы я в самом деле избил его хлыстом?

– Делайте с ним что хотите! – ответила она.

– Животное! – закричал я, не помня себя.

Грек окинул меня своим холодным взглядом тигра и взмахнул хлыстом, чтоб попробовать его, хлыст со свистом прорезал воздух, мускулы грека напряглись... а я был привязан, как Марсий, и вынужден был смотреть, как изловчался Аполлон сдирать с меня кожу...

Блуждающим взором обводил я комнату и остановился на потолке, где филистимляне ослепляли Самсона, лежащего у ног Далилы. Картина показалась мне в ту минуту ярким и вечным символом страсти, сладострастия, любви мужчины к женщине.

«Каждый из нас, в сущности, тот же Самсон, – думал я, – и каждому из нас так или иначе изменяет в конце концов женщина, которую он любит, – носит ли она лохмотья или собольи меха».

– Ну-с, поглядите теперь, как я буду дрессировать его.

У него сверкнули зубы, и лицо его приняло то кровожадное выражение, которое испугало меня в нем при первой же встрече.

И он начал наносить мне удар за ударом.

Так беспощадно, так ужасно, что я съеживался под каждым ударом и от боли начинал дрожать всем телом... даже слезы ручьями текли у меня по щекам...

А Ванда лежала в своей меховой кофточке на оттоманке, опираясь на руку, глядя на меня с жестоким любопытством и катаясь от смеха.

Нет сил, нет слов описать это чувство унижения, мучения от руки счастливого соперника...

Я изнемогал от стыда и отчаяния.

И что самое позорное, вначале я находил какую-то фантастическую, сверхчувствительную прелесть в своем жалком положении – под хлыстом Аполлона и под жестокий смех моей Венеры.

Но Аполлон вышиб удар за ударом всю эту дикую поэзию – и я наконец, стиснув в бессильной ярости зубы, проклял и сладострастную фантазмагорию, и женщину, и любовь.

Теперь только я вмиг увидел с ужасающей ясностью, куда заводит мужчину – от Олоферна и Агамемнона – слепая страсть, разнузданное сладострастие – в мешок, в сети предательницы-женщины... горе, рабство и смерть она несет ему.

Мне казалось, что я пробудился от сна.

Кровь уже выступала у меня под его хлыстом, я извивался, как червь, которого давят ногой, а он все продолжал хлестать без жалости и пощады, и она продолжала смеяться без жалости и пощады, запирая на замки в то же время уложенные чемоданы, надевая дорожную шубу, и смех ее еще доносился, когда она, под руку с ним, сходила с лестницы и усаживалась в коляску.

Потом все стихло на минуту.

Я прислушивался, затаив дыхание.

Вот захлопнулась дверца экипажа, лошади тронулись... еще несколько минут доносился стук колес...

Все было кончено.

\* \* \*

С минуту я думал о мести, хотел убить его, – но ведь я был связан проклятым договором. Мне ничего другого не оставалось, как оставаться верным слову и стискивать зубы.

\* \* \*

Первым моим чувством после пережитой жестокой катастрофы была страстная жажда трудов, опасностей, лишений. Мне хотелось пойти в солдаты и отправиться в Азию или в Алжир, но мой отец был стар и болен и потребовал меня к себе.

И вот я тихо вернулся на родину и в течение двух лет помогал отцу нести заботы, вести хозяйство, учился всему, чему не научился до тех пор, и томительно жаждал труда, работы, исполнения обязанностей как живительного глотка свежей воды.

Через два года умер мой отец, и я стал помещиком, но в моей жизни это ничего не изменило.

Я сам надел на себя трудовые колодки и жил и потом так же разумно, как будто бы мой старик по-прежнему стоял за моей спиной и смотрел через мое плечо своими большими умными глазами.

Однажды я получил с почты какой-то ящик и одновременно с ним письмо.

Я узнал почерк Ванды.

Со странным волнением вскрыл я его и прочел:

«Милостивый государь!

Теперь, когда прошло больше трех лет после той ночи во Флоренции, я могу признаться Вам наконец, что я Вас сильно любила, но Вы сами задушили мое чувство своей фантастической рабской преданностью, своей безумной страстью.

С той минуты, когда Вы сделались моим рабом, я почувствовала, что не могу быть Вашей женой, но меня уже тогда увлекла мысль осуществить для Вас Ваш идеал и, быть может, излечить Вас, – сама наслаждаясь восхитительной забавой...

Я нашла того сильного мужчину, которого искала, который мне был нужен, – и я была с ним так счастлива, как только можно быть счастливым на этом смешном комке глины, на нашем земном шаре.

Но счастье мое было, как и всякое человеческое счастье, недолговечно. Около года тому назад он погиб на дуэли, и я живу с тех пор в Париже жизнью Аспазии.

Как живете Вы? В Вашей жизни нет, я думаю, недостатка в ярком свете, если только Ваша фантазия потеряла свою власть над Вами и развернулись те свойства Вашего ума и Вашей души, которые так сильно увлекли меня вначале и привлекли меня к Вам, – ясность мысли, мягкость сердца и, главное, *нравственная серьезность*.

Я надеюсь, что Вы выздоровели под моим хлыстом. Лечение было жестоко, но радикально. На память о том времени и о женщине, страстно любившей Вас, я посылаю Вам картину бедного немца.

**«Венера в мехах».**

Я не мог не улыбнуться.

И, глубоко задумавшись о минувшем, я увидел вдруг живо перед собой прекрасную женщину в опушенной горностаем бархатной кофточке, с хлыстом в руке... и я снова улыбнулся, рассматривая картину, и над женщиной, которую так безумно любил, и над меховой кофточкой, так восхищавшей меня когда-то, и над хлыстом... улыбнулся, наконец, и над своими собственными страданиями и сказал себе:

– Лечение было жестоко, но радикально. И главное – я выздоровел.

\* \* \*

– Ну-с, какова же мораль этой истории? – спросил я Северина, положив рукопись на стол.

– Та, что я был осел, – отозвался он, не поворачивая головы; он как будто стыдился. – Если бы я только догадался ударить ее хлыстом!

– Курьезное средство! – заметил я. – Для твоих крестьянок оно могло бы еще...

– О, эти привыкли к нему! – с живостью воскликнул он. – Вообрази себе только его действие на наших изящных, нервных, истеричных дам...

– Какова же мораль?

– Что женщина, какой ее создала природа и какой ее воспитывает в настоящее время мужчина, является его врагом и может быть только или рабой его, или деспотом, но ни в каком случае не подругой, не спутницей жизни. Подругой ему она может быть только тогда, когда будет всецело уравнена с ним в правах и будет равна ему по образованию и в труде. Теперь же у нас только один выбор: быть молотом или наковальней. И я, осел, был так глуп, что допустил себя стать рабом женщины, – понимаешь? Отсюда мораль истории: кто позволяет себя хлестать, тот заслуживает того, чтобы его хлестали. Мне эти удары послужили, как видишь, на пользу, – в моей душе рассеялся розовый метафизический туман, и теперь никому никогда не удастся заставить меня

принять священных обезьян Бенареса<sup>1</sup> или петуха Платона<sup>2</sup> за живой образ Божий.

Спасибо что скачали книгу  
<https://femdom.media>

---

<sup>1</sup> Так называет женщин Артур Шопенгауэр.

<sup>2</sup> Диоген бросил ощипанного петуха в школу Платона и воскликнул: «Вот вам человек Платона!»